

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѦНІЕ.

БЕСЪДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

(Критические письма).

Письмо второе.

Поэзія ГРАФА А. Толстого, какъ типъ чужеяднаго творчества.

Если мы будемъ рассматривать поэтическое творчество, какъ естественное и непосредственное рефлектированіе впечатлѣній, навѣваемыхъ жизнью, и будемъ обусловливать силу и направление его силою и характеромъ впечатлѣній, то подобное воззрѣніе дасть совершенно иное освѣщеніе двумъ спорнымъ эстетическимъ доктринаамъ прошлаго десятилѣтія: доктринаѣ искусства для искусства и искусства для жизни. Обыкновенно полагается такъ, что польза и значеніе поэтическихъ произведений, помимо талантливости автора, всецѣло зависятъ оттого, какой изъ двухъ доктринаў придерживается писатель—чистаго или полезнаго искусства: въ первомъ случаѣ, произведенія его должны быть безцѣльны и потому бесполезны, а во-второмъ проникнуты самыми современными тенденціями, и въ пользу ихъ не будетъ представляться ни малѣшаго сомнѣнія. На дѣлѣ же и съ точки зрѣнія нашихъ воззрѣній на искусство это не всегда бываетъ такъ: что tolku, что поэтъ будеть исповѣдывать доктрину полезнаго искусства, если въ произведеніи его отразятся впечатлѣнія ничтожныя по своей слабости и маловажности и если оно будетьничѣмъ инымъ, какъ рутинною иллюстраціею общихъ мѣстъ, вполнѣ справедливыхъ, но тѣмъ не менѣе намозолившихъ всѣмъ глаза своею стереотипностью? А съ другой стороны, развѣ не можетъ случиться, что хотя бы иной поэтъ держался теоріи разпречистѣйшаго искусства, тѣмъ не менѣе въ его поэтическихъ образахъ отразятся впечатлѣнія сильныя и животрепещущія.

Т. CCXXX. — Отд. II.

щущія по своему существенному значенію въ жизни, и произведение его само по себѣ будетъ въ высшей степени полезно, будетъ имѣть большое значеніе въ литературѣ. Такъ, напримѣръ, скажите: какой доктрины, чистаго или полезнаго искусства держались такія свѣтила поэзіи, какъ Данте, Шекспиръ или Байронъ? А Гоголь положительно держался теоріи чистаго искусства; но это не помѣшало ему создать рядъ произведеній, по значенію и пользѣ превосходящихъ все созданное до него въ русской литературѣ. А еще лучше возьмите народную поэзію: какой доктрины держится народъ, чистаго или полезнаго искусства, создавая свои пѣсни? Онъ творить ихъ совершенно не произвольно, поеть ихъ также безотчетно, какъ птицы небесны, а между тѣмъ, много ли найдете вы народныхъ пѣсней, которыхъ не отражали бы тѣхъ или другихъ роковыхъ и существенныхъ явлений его жизни и не имѣли бы серьѣзнаго значенія для него?

Такимъ образомъ, нисколько не отвергая, что искусство должно служить не ради однихъ празднѣихъ эстетическихъ забавъ и утѣхъ, что оно имѣть свое специальное высшее, утилитарное назначеніе въ жизни, мы въ то же время должны признать, что достиженіе этого назначенія или же пребываніе искусства въ области эстетической побрякунности зависить вовсе не отъ доброй воли поэта и его эстетическихъ взглядовъ, а отъ характера впечатлѣній, возбуждающихъ его творчество. Характеръ же впечатлѣній зависитъ отъ суммы условій жизни поэта, условій, создаваемыхъ эпохой, средою, наконецъ, обстоятельствами личной жизни. И совершенно подобно тому, какъ жизнь создаетъ различные типы людей той или другой среды, того или другого вѣка, также точно создается она и различные типы поэзіи. Типы эти совершенно подобно людскимъ возникаютъ и исчезаютъ соподобно возникновенію и исчезанію тѣхъ условій, которыхъ не создаются. Такимъ образомъ, если вамъ не нравится какой-нибудь изъ существующихъ поэтическихъ типовъ, то это произходить прежде всего отъ того, что онъ чуждъ условій, характеру и складу вашей личной жизни, оттого, что будь вы самъ поэтомъ, ваша поэзія принадлежала бы къ другому типу, не имѣющему ничего общаго съ первымъ. Затѣмъ вы можете воздвигать на несимпатичный вамъ типъ поэзіи какія вамъ уголовно гоненія, пусть гоненія эти будутъ основаны на вполнѣ неопровергнутыхъ, самыхъ глубокихъ и вѣскихъ истинахъ, и повторите, что никакіе критические доводы не поколеблять существующаго типа поэзіи, пока не исчезнуть условія, вызывающія и поддерживающія его существованіе.

Такъ, напримѣръ, представьте себѣ господина, который съ пеленокъ привыкаетъ уже созерцать жизнь исключительно съ одной стороны красоты ея формъ. Когда еще питается онъ молокомъ деревенской красавицы (нарочно тщательно выбранной изъ сотенъ крестьянокъ по привлекательности своихъ формъ).

когда сознание не успѣло еще проявиться въ немъ и только-только что воспитываются органы элементарныхъ ощущеній, его ручки ощущаютъ не иначе, какъ газъ, шелкъ и атласъ, въ которыхъ онъ изящно окутанъ, его глазенки останавливаются на ослѣпительномъ блескѣ артистически извѣянныхъ бронзовыхъ или хрустальныхъ лusters и канделябровъ; его ушени слушаютъ тихіе звуки отдаленныхъ музыкальныхъ мотивовъ, сладкій говоръ нѣжныхъ ласкъ на звучномъ французскомъ діалектѣ и т. п.

И потомъ, когда онъ начинаетъ подростать, отъ него тщательно отстраняется и удаляется все негармоническое, неуклюжее, тривіальное по вышнимъ формамъ, а если что-либо изъ подобного по необходимости торчить передъ его глазами, ему внушиается презрѣніе и пренебреженіе ко всему подобному. Такъ, напримѣръ, гувернёръ его можетъ имѣть бездну самыхъ почтенныхъ и высокихъ нравственныхъ достоинствъ, но никто не заботится обратить вниманіе мальчика на эти достоинства, а, на-противъ того, на первомъ планѣ ставятся неловкія манеры или всклокоченные волосы ментора, и осмѣиваются маменьками и папеньками, тѣтеньками и дяденьками. Заражаясь ихъ смѣхомъ, и мальчикъ осмѣиваетъ своего наставника, за некрасивыми формами его не замѣчая прекраснаго внутренняго ихъ содержанія. Такимъ образомъ, мальчикъ привыкаетъ все, на что ни видаешь взоры свои, разсматривать исключительно со стороны красоты или безобразія формъ. Сама природа является глазамъ его прежде всего въ выровненномъ, выложенномъ, изукрашенномъ видѣ симетрически-правильныхъ формъ сада, расположеннаго вокругъ замка. И только даѣте, за предѣлами сада, допускается настоящая природа, позволяется имѣть ей и свои дикия красоты, но все-таки непремѣнно не что иное, какъ красоты: взоры, привыкшіе нѣжиться прелестью изящныхъ формъ, и здѣсь прежде всего и болѣе всего ищутъ привычныхъ наслажденій. Прибавьте ко всему этому, что къ наступленію зрѣлаго возраста человѣкъ этотъ привыкаетъ главнымъ содержаніемъ жизни считать всевозможныя наслажденія, стараясь окружать себя со всѣхъ сторонъ всѣмъ нѣжущимъ и ласкающимъ чувства и тщательно удалять отъ себя не только все негармоническое, безобразное, тривіально-грязное, но и все возмущающее, тревожащее душу, въ какомъ бы то ни было отношеніи. Весьма понятно, что для такого господина «муза мести и печали» всегда будетъ чужда и ненавистна, какими бы доказательствами вы ни разсыпались передъ нимъ въ полезности и естественности такой музы. Ну, статочное ли дѣло, чтобы Некрасовъ могъ тронуть его стихотвореніемъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи
Куда не хороша!
Въ томительномъ боренії
Сама съ собой душа и проч.

или чтобы Рѣшетниковъ могъ разжалобить его судбою спив-

*

шагося почтальона, когда видъ пьяного простолюдина или разночинца никогда ничего въ этомъ господинѣ неспособенъ возбуждать, кроме одного единственного чувства гадливости и пенависти. Ему и въ голову не можетъ прійти, да никогда и не придетъ, чтобы въ безобразной съ точки зре́нія изящества формъ фигуръ пьяного почтальона могли происходить какія-нибудь «душевныя боренія». Помилуйте, какія-такія тутъ душевныя боренія, ха, ха, ха!.. Больше ничего, какъ безсмысленный бредъ хмѣльного идюта. Да и въ правѣ ли вы требовать, чтобы этотъ господинъ постигъ вдругъ поэзію душевныхъ бореній спившагося разночинца или, еще того хуже, мужика, когда даже плачущую Ніобею, этотъ общечеловѣческій образъ материнской скорби, господинъ этотъ способенъ созерцать исключительно со стороны красоты ея слезъ, не допуская разстроивать свои чувствительные нервы тревожными размышеніями о томъ, что слезы эти не только красивы, но солоны и горьки, и что подъ ними таятся своего рода «душевныя боренія». Понятно, что среда такихъ господъ фатально должна воспитывать поэзію, главное содержаніе которой заключается въ отраженіи впечатлѣній изящныхъ формъ, которая на всѣ явленія жизни, на всѣ людскія радости и печали будеть смотрѣть исключительно съ той точки зре́нія, какъ красиво они проявляются и рисуются передъ глазами. Понятно также, что пока будеть существовать эта среда, до тѣхъ поръ и этому типу поэзіи не будетъ конца. Этотъ типъ и есть то, что у насъ принято называть искусствомъ для искусства. Но въ сущности это вовсе не искусство для искусства? Это въ своемъ родѣ искусство для жизни: да, для жизни той среды, которая создаетъ такое искусство, потому что *нуждается* въ немъ и создаетъ его сообразно *своимъ потребностямъ*, подобно тому, какъ иные среды создаютъ свои типы искусства, сообразно своимъ потребностямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ жизнь средней руки французского буржуа, нѣмецкаго биргера, мелкопомѣстнаго русскаго помѣщика или разночинца. Здѣсь вы не найдете уже, конечно, того восторженного культа прекрасныхъ формъ, какое мы видѣли въ жизни вышеозначенаго господина. Прекрасному предпочтается здѣсь полезное. Главнымъ стимуломъ жизни является здѣсь не наслажденіе, а приобрѣтеніе. Здѣсь и никогда, да нѣту и средствъ заводить прекрасную, нѣжащую взоры обстановку. Комнаты у подобныхъ людей наполняются старомодною, неуклюжей, дешевою мебелью, лишь бы было на чёмъ сидѣть, обѣдать или спать. Подобнымъ хламомъ эти люди дорожатъ иногда въ гораздо большей степени, чѣмъ знатные господа своею дорогою и изящною мебелью, но дорожатъ вовсе не въ силу того, чтобы онъ прельщалъ взоры ихъ изяществомъ своихъ формъ, а потому что одни вещи представляютъ память о дѣдушкѣ или бабушки, по наслѣдству отъ которыхъ они достались; другіе дороги по собственнымъ воспоминаніямъ или по привычкѣ, пото-

му что глаза успѣли приглядѣться къ нимъ съ самаго дѣтства; наконецъ, дорогъ весь этотъ хламъ и просто потому, что въ этой средѣ каждая мелочь идеть въ счетъ, каждой ложкѣ и плошкѣ придается свое представительное значеніе, надъ каждой разбитой чашкой проливаются здѣсь подъчасъ слезы. И еще бы: вся жизнь въ этой средѣ слагается изъ мелочей; здѣсь склачиваются капиталы по копейкамъ и денежкамъ. Здѣсь нѣть взрывовъ вулканическихъ страстей, ведущихъ за собою катастрофы и быстрые перевороты; а, напротивъ того, жизнь танется въ однообразномъ теченіи мелочныхъ, повседневныхъ дразгъ, вслѣдствіе чего такие пустаки, какъ экстраординарная пирушка по случаю получения ордена или поѣзда за 100 верстъ, принимаютъ здѣсь размѣры крупныхъ событий жизни, отъ которыхъ люди ведутъ свои эры. Характеры въ этой средѣ обрисовываются не геройскими подвигами или злодѣйствами, вообще не какими-либо крупными поступками, а совокупнымъ рядомъ деталей домашней обстановки и мелкихъ дразгъ, въ отношеніи къ небольшой группѣ людей. Наконецъ, люди этой среды такъ привыкаютъ обращать пристальное вниманіе, взвѣшивать и высоко цѣнить каждую мелочь, что они рѣшительно теряютъ сознаніе различія мелкаго отъ крупнаго, и такие вопросы, какъ заказъ новаго платья или оклейка стѣнъ новыми обоями, стоять въ головѣ ихъ на одномъ планѣ съ самыми существенными общими вопросами вѣка. Помдумайте теперь: какой типъ поэзіи должна создать подобная среда? Нужно ли распространяться, какой именно? Конечно, это будетъ именно та пресловутая натуральная поэзія мелочей и дразгъ жизни, которая, начиная съ 30-хъ годовъ, преобладаетъ въ Европѣ. Феодальный принципъ, опредѣляющій искусство сферею прекраснаго и высокаго, къ этому типу совершенно оказывается непримѣнимымъ. Люди, привыкшіе вращаться въ средѣ мелочей жизни и цѣнить ихъ со стороны исключительно утилитарной, не обращая особеннаго вниманія, насколько мелочи эти удовлетворяютъ чувству прекраснаго, очень понятно, и въ искусствѣ будуть отражать всѣ эти мелочи съ точки зрѣнія утилитарно-нравственного или материальнаго значенія ихъ въ жизни. Понятно также, что этотъ типъ поэзіи будетъ чуждаться выставления крупныхъ характеровъ, сильныхъ страстей и выдающихся трагическихъ событий жизни. Напротивъ того, онъ долженъ неуклонно стремиться къ изображенію обыкновенныхъ маленькихъ людышекъ во всей ихъ будничной обстановкѣ, съ ихъ миниатюрными добродѣтелями и пошленскими плотскими вожделенющими, и съ ихъ семейными драмами, медленно-чертепашими шагомъ выплывающими изъ тины мелочей и дразгъ повседневной жизни.

Замѣтьте, что недаромъ подобного рода типъ поэзіи, въ видѣ натурального романа, развивается въ Европѣ вмѣстѣ съ окончательнымъ паденiemъ феодальныхъ режимовъ, и утвержденiemъ господства буржуазныхъ, промышленныхъ классовъ. Подобно

тому, какъ въ Англіи послѣ послѣдняго проблеска поэзіи феодального режима, въ видѣ неоромантизма (Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ), воцаряется натуральный романъ на почвѣ всесильной англійской буржуазіи, въ лицѣ такихъ крупныхъ представителей, какъ Диккенсъ, Тэккерей, Джорджъ Элліотъ и проч., подобно тому, какъ во Франціи, вскорѣ послѣ первой революціи, даровавшей господство промышленнымъ классамъ, возникла подобнаго же рода школа натурального романа въ лицѣ Бальзака, Стендalia, Флобера и Золя, точно такъ же и у насъ, въ свою очередь, достаточно оказалось перемѣщенія центра умственного движения изъ великосвѣтскихъ слоевъ общества въ среду мелкаго дво-риянства и разночинства, чтобы тотчасъ-же возникла натуральная школа, воцарилась поэзія мелочей и дрягъ повседневной жизни, и мы видимъ, что представитель этой школы, Гоголь, является самъ всецѣло выходцемъ изъ этой среды и по своему про-исхожденію, и по своему воспитанію, и по всѣмъ обстоятельст-вамъ своей жизни.

Судя по всему этому, можно ожидать, что и натуральная поэзія мелочей и дрягъ жизни имѣть крайне относительное зна-ченіе и преходящее существованіе. Она, конечно, будетъ про-цвѣтать и господствовать до тѣхъ только поръ, пока центръ умственного движения будетъ сосредоточиваться въ средѣ про-мышленныхъ классовъ. Передвиженіе-же этого центра въ иные слои общества, напримѣръ, въ народные, непремѣнно должно отозваться въ искусствѣ появленіемъ новыхъ типовъ поэзіи, со-ответствующихъ этимъ слоямъ. Первообразы этихъ типовъ мы и теперь вирочемъ можемъ наблюдать, какъ, съ одной стороны въ собирательно-народномъ творчествѣ, такъ и въ произве-деніяхъ поэтовъ выходцевъ изъ народа, каковы: Кольцовъ, Шев-ченко, Никитинъ, Борисъ и проч. Замѣтьте, что, несмотря на то, что поэты эти оригинальны до крайности и вносятъ совершенно свѣжія струи въ литературу тѣхъ обществъ, среди которыхъ появляются, они стоять совершенно особняками, не дѣ-лаютъ пока переворотовъ въ той сферѣ поэзіи, къ которой при-надлежать. Такъ, напримѣръ, мы видимъ, что ни Кольцовъ, ни Шевченко ни мало не помѣшали появленію послѣ нихъ лиръ Ап. Майкова, Фета, Тютчева и пр. въ такой степени, въ ка-кой Жуковскій съ Пушкинымъ помѣшали трескучими одамъ, поэмами и трагедиями въ ложно-классическомъ духѣ, или въ какой степени Гоголь помѣшалъ появленію романовъ въ духѣ Полеваго или Загоскина съ Кукольникомъ. Это происходитъ, конечно, отъ того, что въ средѣ умственного движения общества и до сихъ поръ преобладаютъ слои, для которыхъ пушкинская муга роднѣе кольцовской. Такъ мы и до сихъ поръ видимъ, если появляется молодой лирникъ изъ привилегированныхъ классовъ, то онъ не станетъ подражать Кольцову или Никитину, а будетъ придержи-ваться мотивовъ и формъ лирики, выработанныхъ пушкинсковъ традиціей. Тогда какъ выходцы изъ народа начинаютъ сбыва-

венно подражаниемъ Кольцову. Стоитъ обратить при этомъ внимание и на то, что поэзія всѣхъ этихъ выходцевъ изъ народа, этихъ первыхъ пионеровъ будущихъ поэтическихъ типовъ не подходитъ ни подъ одну изъ существующихъ до нынѣ эстетическихъ доктринъ. Это—отнюдь не поэзія прекрасныхъ образовъ, изысканныхъ формъ и выраженій и тѣмъ менѣе—поэзія мелочныхъ деталей жизни. При своей крайней, чисто младенческой простотѣ и чуждости всякихъ изысканныхъ вычурностей, она отличается, въ тоже время чрезвычайной сжатостью и, вмѣсть съ тѣмъ, могучей силой страсти. Отъ нея такъ и вѣтъ упругою крѣпостью мускуловъ, развитыхъ земледѣльческимъ трудомъ и свѣжестью непочатыхъ и необъятныхъ душевныхъ силъ. Она изображаетъ предметы крупными общими чертами, избѣгая мелкихъ детальныхъ штриховъ и тонкихъ оттѣнковъ различныхъ душевныхъ движений. Видно, что она вышла изъ среды людей, слишкомъ занятыхъ, чтобы предаваться празднымъ созерцаніямъ и подолгу останавливаться на каждой черточкѣ жизни. Природа въ ней если и описывается, то въ тѣсной связи съ жизнью человѣка и въ ея вліяніи на эту жизнь. Общее содержаніе ея заключается отнюдь не въ восторженномъ созерцаніи прекрасного и не въ тщательномъ изображеніи дѣйствительности во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ, а въ глубокой, сурово-скорбной думѣ о жизни и судьбѣ человѣка, о борьбѣ съ людскими неправдами и о прискорбномъ преобладаніи кривды надъ правдою.

При всемъ этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, конечно, не однимъ складомъ жизни и характеромъ тѣхъ или другихъ слоевъ общества опредѣляются типы поэзіи. Они въ значительной степени видоизмѣняются и осложняются, смотря по характеру эпохи. Такъ, напримѣръ, возьмите во вниманіе, что во всѣхъ поэтическихъ произведеніяхъ Западной Европы послѣдней четверти прошлаго столѣтія и первой четверти настоящаго преобладаетъ наклонность къ грандиозному въ изображеніяхъ, какъ жизни человѣческой, такъ и природы. На сцену выступаетъ передъ вами цѣлый рядъ титаническихъ личностей, представляющихъ въ себѣ какъ бы фокусы всего человѣчества, каковы Faustъ, Чайльдъ-Гарольдъ, маркизъ Поза и проч. Они обставляются соотвѣтствующею, величественною обстановкою: сюжеты произведеній развиваются постоянно то среди громоздящихся скалъ и вѣчныхъ снѣговъ Альпъ, то среди бушующихъ волнъ океановъ, то въ дѣственныхъ лѣсахъ тропической природы, то подъ гигантскими сводами средневѣковыхъ храмовъ или замковъ, или среди обвитыхъ плющами и миrtleми развалинъ классической древности. Въ общемъ своемъ содержаніи всѣ эти произведенія трактуютъ еп grand о судьбахъ всего человѣчества, объ основныхъ началахъ человѣческой природы и вѣковѣчныхъ явленіяхъ жизни. Нѣть сомнѣнія, что такой характеръ поэзіи лежитъ въ тѣсной связи съ общимъ настроениемъ эпохи, въ которую Европа переживала двойной

кризисъ философскій и политическій, въ которую жизнь ежедневно выдвигала чрезвычайныя событія, катастрофы и перевороты, всѣ страсти были взволнованы до послѣдней крайности и воображеніе крайне возбуждено и напряжено. Правда, что и послѣдующее пятидесятилѣтіе, составляющее середину нынѣшняго столѣтія, не лишенъ своего рода чрезвычайныхъ событій: стѣть припомнить три революціи, пережитыя Франціею съ ужасами юльскихъ дней и коммуны, американскую войну за освобожденіе негровъ, освобожденіе Италии, крымскую кампанию, германо-французскую войну или только-что пережитый терроръ на Балканскомъ Полуостровѣ; но какой бы ужасъ ни возбуждали въ свое время всѣ эти событія въ современникахъ, они далеко не имѣютъ въ ихъ глазахъ того рокового, апокалиптическаго характера, какой представляли событія конца прошлаго и начали нынѣшняго вѣка. Къ тому же, всѣ эти событія совершаются маленьими людьми, далеко не рисующимися въ томъ ореолѣ величавой геніальности или трагичности, въ какомъ рисовались такие дѣятели прошлаго вѣка, какъ Уашингтонъ, Наполеонъ I, Суворовъ, Робеспьеръ, Маратъ, Дантонъ и проч. Они возбуждаютъ въ васъ не восторженное удивленіе или ужасъ, а смѣхъ и презрѣніе своими смѣшными слабостями въ мѣщанскомъ духѣ, въ родѣ мелочного тщеславія, погони за наживою, интриганства и передергиваній чисто-шуллерскаго характера, жалкаго малодушія въ роковыя минуты и проч. А главное дѣло, мы слишкомъ умудрены опытомъ, чтобы каждое событіе, выходящее изъ обыденнаго уровня, встрѣчать, какъ возрожденіе всего человечества и начало новой эры. Мы очень хорошо впередъ предугадываемъ, что, сколько ни было бы сожжено пороха, разрушено домовъ и пролито крови, въ концѣ-концовъ, надъ всѣми развалинами совершившихся катастрофъ все-таки восторжествуетъ единственный, истинный владыка нашего вѣка — купецъ, съ аршиномъ въ одной рукѣ и мѣшкомъ золота въ другой. Неудивительно, что всѣ вышеупомянутыя, чрезвычайныя событія нашего времени никакъ не мѣшаютъ европейской жизни въ общемъ своемъ теченіи имѣть сѣренкій характеръ заурядности мирныхъ устоевъ буржуазнаго прозабанія. Куда ни обернется, повсюду вы наткнетесь на куща, афериста, мелкаго промышленника, биржевого игрока и шуллера. Чѣмъ же мудренаго, что и поэзія спустилась нѣсколькими тонами ниже: вмѣсто того, чтобы изображать судьбы человѣчества en grand, занялась анализомъ мелочей и дразгъ буржуазной жизни и, вмѣсто того, чтобы выводить на сцену Валленштейновъ, Манфредовъ или Иоаннъ д'Аркъ, героями своими избрала Никкиковъ, Ругоновъ, Чичиковыѣ, Ревеккъ Шарль и пр.

Немалое вліяніе на соцданіе, въ настоящемъ случаѣ, не общихъ и гуртовыхъ, но личныхъ, индивидуальныхъ типовъ поэзіи имѣютъ, конечно, частные условия жизни того или другого поэта. Но здѣсь мы вступаемъ въ такую необыкнную область, что, изъ

болзни разбросаться и запутаться въ массѣ конкретныхъ явлѣній, я считаю необходимымъ немедленно же перейти къ главному предмету своего настоящаго письма — къ анализу поэтическаго творчества сопшедшаго въ прошломъ году въ могилу графа Алексія Толстого. Его поэтическія произведенія, въ связи съ біографическими данными, покажутъ намъ, какія общія и частные условія жизни и какъ вліяли на творчество этого современнаго намъ поэта и что они изъ него сдѣлали. Я избираю въ настоящемъ случаѣ для своего анализа гр. А. Толстого не только потому, что онъ недавно умеръ и послѣ его смерти изданы были въ прошломъ году всѣ его стихотворныя произведенія. Это только поводъ. Главное же дѣло въ томъ, что гр. А. Толстой, какъ поэтъ, представляется мнѣ весьма рѣзкимъ и опредѣленнымъ типомъ для моего анализа.

Но прежде, чѣмъ мы займемся поэтическими произведеніями гр. А. Толстого, мы обратимъ вниманіе на тѣ автобіографическія свѣдѣнія о его жизни, которыя онъ изложилъ въ своемъ письмѣ къ флорентійскому профессору де-Губернатису, помѣщеннымъ въ началѣ послѣдняго изданія его стихотвореній. При всей своей краткости и сжатости, свѣдѣнія эти столь характеристичны, что даютъ вполнѣ ясное и опредѣленное понятіе объ условіяхъ жизни поэта и вліяніи этихъ условій на его творчество. Итакъ, чѣмъ же мы видимъ изъ этихъ свѣдѣній? Мы видимъ, во-первыхъ, что гр. А. Толстой родился и всю жизнь прожилъ исключительно въ самыхъ великосвѣтскихъ кругахъ общества. Затѣмъ мы видимъ, что хотя онъ родился въ Петербургѣ (въ 1817 году), но еще шестинедѣльнымъ увезли его въ Малороссию мать и дядя его съ материнской стороны, Алексѣй Перовский, который, замѣтите, былъ человѣкъ образованный, большой любитель изящныхъ искусствъ, и принималъ участіе въ русской литературѣ, въ которой извѣстенъ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльского. Итакъ, родиною своею гр. А. Толстой въ полномъ правѣ могъ считать Малороссию, гдѣ съ шестинедѣльного возраста онъ провелъ въ имѣніи родителей первыя восемь или девять лѣтъ своей жизни. Дѣтство графа прошло, какъ онъ самъ говорить, чрезвычайно счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. И еще бы: конечно, попеченіями любящихъ его иѣжно родителей онъ былъ тщательно огражденъ отъ всѣхъ непріятныхъ столкновеній и шероховатостей жизни: это была нѣжная гусеница, бережно окутанная въ вату, чтобы она не могла подвергнуться ни малѣйшему толчку или грубому прикосновенію стихій. Онъ не имѣлъ въ семье дѣствѣ даже сверстниковъ, отношенія къ которымъ, въ видѣ насмѣшекъ, подразненій, обидъ, ссоръ и потасовокъ, могли бы доставить ему первые тяжкіе опыты жизни. Онъ росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки, среди роскошной малороссійской природы, и очень понятно, что, при такихъ условіяхъ, въ немъ рано развилась мечтательность, при чѣмъ воображеніе его начало

создавать самыя причудливыя и фантастическая грёзы, своюю обольстительностью вполнѣ соответствующія изяществу обстановки окружающей его жизни. Для большей наглядности я считаю не лишнимъ иллюстрировать характеристику дѣтства поэта извлечениемъ изъ стихотворной повѣсти его «Портретъ». Хотя я и не имѣю права утверждать, чтобы въ повѣсти этой гр. А. Толстой изобразилъ свое собственное дѣтство, но, тѣмъ не менѣе, мнѣ сдается, что, хотя бы и при нѣкоторыхъ иныхъ условіяхъ и подробностяхъ домашней обстановки, дѣтство графа имѣло немало общаго съ описаннымъ въ «Портретѣ», и несомнѣнно, что на послѣднемъ отражаются слѣды воспоминаній первого. Вотъ чѣмъ мы читаемъ въ вышеупомянутой повѣсти. Послѣ описанія казарменной архитектуры фасада родительского дома героя, поэтъ говоритъ:

«но внутри

Характеръ свой прошедшаго столѣтья
Домъ сохранилъ. Покоя два, иль три
Могли-бы восторга вызвать междометье
У знатока. Изъ бронзы фонари
Въ стѣнахъ висѣли, и любилъ смотрѣть я,
Хоть былъ тогда въ искусствѣ не толковъ,
На линку стекла и форму потолковъ.

* *

Родителей своихъ я видѣлъ мало;
Отецъ былъ занятъ; братьевъ и сестеръ
Я не знала; мать много выѣзжала;
Ворчали вѣчно тѣтки; съ раннихъ поръ
Привыкли одинъ бродить я въ залѣ изъ зала
И населять мечтами ихъ просторъ.
Такъ подвиши, достойные романы,
Воображать себѣ я началъ рано.

* *

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна,
Жизнь, какъ она окружала меня текла,
Все въ той же прозѣ движась безпрерывно,
Все, чѣмъ грозятъ сердѣчныя дѣла —
Я неизѣштвѣла съ дѣтства инстинктивно.
Не говорю, что въ этомъ былъ я правъ,
Но видно такъ ужъ мой сюжетъ и правъ.

* *

Цвѣты у насъ стояли въ разныхъ залахъ:
Желто-фиолѣтъ много золотыхъ,
И много гіацинтовъ, синихъ, алыхъ,
И полевыхъ, и блѣдно-голубыхъ;
И я, міровъ искатель небывалыхъ,
Любила винять въ благоуханіе ихъ,
И въ каждомъ залѣ индивидуальный
Мнѣ музыкой какъ будто вѣмъ дальней,

* *

Въ иные-же дни, прервавъ мечтаний сонъ,
Случалось мнѣ очнуться, въ удивленіи,

*Съ цепткомъ съ рукою. Какъ жной былъ сорванъ онъ—
Не помнилъ я; но отъ чудныхъ видовъ
Былъ запахомъ его я погружень.
Такъ превращало мнѣ воображенье
Въ волшебный міръ нашъ скучный старый домъ—
А жизнь межъ тѣмъ шла прежнимъ чередомъ.*

Къ этимъ галлюцинациямъ, внушаемымъ полнымъ одиночествомъ мальчика среди роскошной и изящной обстановки, прибавьте еще обаяніе малороссійской природы, о которомъ графъ А. Толстой считаетъ нужнымъ два раза замѣтить въ своей автобіографіи. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что мѣстная природа, среди которой онъ жилъ, много содѣствовала развитію въ немъ мечтательности и склонности къ поэзіи: «Воздухъ и видъ нашихъ большихъ лѣсовъ, страстно любимыхъ мною, оставили во мнѣ глубокое впечатлѣніе, имѣвшее вліяніе на мой характерь и жизнь, и сохраняемое мною до сей поры». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что, возвращаясь порою въ деревню, гдѣ провелъ первые годы, онъ никогда не могъ видѣть тѣхъ мѣстъ безъ особынаго волненія.

При такихъ условіяхъ жизни, въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе. «Съ шестилѣтняго возраста, говоритъ гр. А. Толстой:—началь я марать бумагу и писать стихи — такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги отпечатлѣлся въ моей памяти и заставлялъ биться сердце всякий разъ, когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я таскалъ ее, бывало, съ собою всюду и прятался въ саду или въ лѣсу, чтобы, лежа подъ деревьями, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть; я учи-вался музыкою разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику. Какъ ни были нелѣпы мои первые опыты, я долженъ, однако, сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны».

Когда мальчику было восемь или девять, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей: составлявшихъ воскресное общество Цесаревича (нынѣ царствующаго Государя Императора). Но съ слѣдующаго же года начинаются постоянные странствованія его съ родителями за границей, имѣвшія огромное вліяніе на эстетическое развитіе и окончательное углубленіе его въ міръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. «Во время пребыванія нашего въ Веймарѣ, говоритъ графъ А. Толстой, по поводу этого путешествія:— дадя свѣль меня съ Гёте, къ которому я инстинктивно проникся величайшимъ почтеніемъ за ту манеру, съ которой онъ говорилъ. Отъ этого посвѣщенія у меня сохранились въ памяти величественные черты Гёте и еще то, что я сидѣлъ у него на колѣнахъ».

Но самое роковое, въ смыслѣ нравственнаго и эстетическаго вліянія, наложившаго печать на всю жизнь поэта, было путешествіе въ Италию на 14 году его жизни. «Мнѣ было 13 лѣтъ, говоритъ гр. А. Толстой:—когда я съ родными сдѣлалъ первые путешествіе въ Италию. Невозможно изобразить силы моихъ мечтательнѣй и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде нежели встрѣтился съ ними. Мы вышли съ Венеціи, гдѣ мой дядя сдѣлалъ большія покупки въ старомъ дворцѣ Гrimani. Между прочимъ, былъ купленъ бѣсть молодаго фавна, приписываемый Микель-Анджело, великолѣпный экземпляръ, который когда-либо мнѣ случалось видѣть: онъ находится теперь въ Петербургѣ и принадлежитъ гр. Павлу Строгонову. Когда статую перенесли въ нашъ отель, я не отходилъ отъ нея. Я вставалъ ночью посмотрѣть на нее, и мое воображеніе мучилось нелѣпѣшими подозрѣніями. Я задавалъ себѣ вопросъ, что мнѣ дѣлать, если вспыхнетъ пожаръ въ отѣлѣ, и пробовалъ, могу ли я, въ случаѣ, унести статую на свои рукахъ. (Не правда ли, какъ это опять-таки напоминаетъ повѣсть «Портретъ». Невольно приходитъ въ голову, что не себя ли изобразилъ поэтъ въ этомъ образѣ мальчика, крадущагося ночью, когда все въ домѣ заснуло, на фантастическое свиданіе съ единственнымъ портретомъ, въ который онъ мечтательно влюбился, какъ въ живое существо). Изъ Венеціи мы отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніи мой восторгъ и любовь къ искусству возрастили; дѣло дошло до того, что, по возвращеніи въ Россію, я впалъ въ настоящую тоску по Италии, доходилъ до какого то отчаянія, которое заставило меня днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когда мокрые заносили меня въ мой потерянный рай».

По этимъ выдержкамъ изъ автобіографіи гр. А. Толстого вы можете судить, что все воспитаніе его въ дѣтствѣ какъ будто нарочно и вполнѣ систематично было направлено такъ, чтобы отвлечь его отъ всякихъ непосредственныхъ отношеній къ жизнющей дѣйствительности и окончательно поселить въ отвлеченно-мечтательный міръ обольстительно-прекрасныхъ грѣзъ. Онь, по всей справедливости, могъ къ самому себѣ отнести тѣ стихи своей повѣсти (Портретъ), которые онъ вложилъ въ уста своего героя:

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна.
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
Все въ той же прозѣ движась безпрерывно,
Все, что зовутъ серѣзными дѣла —
Я ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

И дѣйствительно, трудно представить себѣ жизнь болѣе отрѣшенную отъ дѣйствительности и бѣдную внѣшними событиями, чѣмъ жизнь гр. А. Толстого. Семнадцати лѣтъ выдержанъ

онъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университѣтѣ. Въ 1836 году, по желанію матери, былъ прикомандированъ къ русскому посольству при нѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртъ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣлѣніе собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 г. онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ императорской фамиліи съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую кампанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человѣкъ отъ тифа, полученного также и гр. Толстымъ. Наконецъ, слѣдуетъ послѣднее замѣчательное событие въ жизни гр. Толстого—событие, кладущее свою печать на всю его послѣдующую жизнь, событие, которымъ самъ онъ гордился, какъ своего рода нравственною доблѣстью, которое подчеркивали какъ его приверженцы, такъ и порицатели, одни прославляя его за него, другіе осуждая. «Императоръ Александръ II, говорить гр. А. Толстой въ своей біографіи:—во время коронаціи въ Москвѣ, изволилъ назначить меня своимъ флигель-адъютантомъ. Но такъ какъ я вовсе не готовился быть военнымъ и, поступая въ стрѣлки, имѣлъ намѣреніе оставить службу тотчась по окончаніи войны, то я и представилъ мои сомнѣнія Его Величеству, и Государь Императоръ принялъ мою просьбу съ обычнымъ ему благодушіемъ и назначилъ меня егермайстеромъ двора».

Это былъ отказъ отъ блестящей карьеры ради исключительного посвященія всей жизни служенію музамъ. Я уже сказаль выше, что гр. А. Толстой самъ гордился этимъ подвигомъ, такъ что даже воспѣлъ его въ цѣлой поэмѣ, подъ заглавіемъ «Іоаннъ Дамаскинъ». Когда калифъ предложилъ Іоанну быть намѣстникомъ его и владѣть полцарствомъ, Іоаннъ отвѣчалъ ему:

«Твой щедрый даръ,

О, государь, пѣвцу не нужень;
Съ иною силою онъ друженъ;
Въ его груди пылаетъ жаръ,
Которымъ зиждется созданье;
Служить Творцу—его призванье...

а въ концѣ этой высокопарной рѣчи, Іоаннъ взмолился:

О, отпусти меня, калифъ,
Дозволь дышать и пѣть на волѣ!

Я сказалъ уже выше, что приверженцы гр. А. Толстого очень высоко ставятъ это самоотверженіе поэта въ пользу своего поэтическаго призванія, между тѣмъ какъ порицатели осуждаютъ графа за индиферентизмъ его къ дѣлу служенія и принесенія пользы отечеству. Они показываютъ, какъ это всегда при такомъ случаѣ дѣлается, напримѣръ Англія, въ которой поэтамъ, ученымъ и философамъ призваніе ихъ нисколько не мѣшаетъ быть въ то же время государственными людьми, полководцами, боярками и т. п.

Что касается до меня, то фактъ отказа гр. А. Толстого отъ

блестящей карьеры я принимаю совершенно индиферентно, въ такой же степени индиферентно, какъ еслибы мнѣ сказали, что графъ А. Толстой отказался отъ блестящей партіи или выгодной покупки отличного имѣнія, и предложили бы мнѣ при этомъ решить вопросъ: какое влияние на поэтическое творчество графа могли имѣть подобные его поступки? Другое дѣло, еслибы вопросъ становился на нравственную почву, т. е. еслибы дѣло шло о решеніи того, что имѣть ли нравственное право гр. А. Толстой отказываться отъ практическаго служенія отечеству ради исключительного пристрастія къ изящнымъ искусствамъ, или чѣмъ могъ быть онъ полезнѣе для Россіи: въ качествѣ ли государственного мужа, или поэта? Не знаю ужъ, въ какой степени были бы разрѣшими подобные вопросы, но, по крайней мѣрѣ, я понимаю ихъ смыслъ и значеніе. Но нась, въ настоящемъ случаѣ, занимаютъ вовсе не нравственные приговоры о томъ, что достойно или недостойно, правильно или неправильно направилъ и употребилъ свою жизнь гр. А. Толстой, а опредѣленіе характера его поэтическаго творчества. И вотъ съ этой точки зренія я и утверждаю, что отказъ графа отъ блестящей карьеры не имѣть ровно никакого значенія. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь вы подумайте только, чтѣ могла бы принести поэтическому творчеству графа самая блестящая карьера? Какой бы важный постъ онъ ни занялъ и сколько бы ни принесъ онъ пользы государству на этомъ постѣ, во всякомъ случаѣ, дѣятельность его по общему характеру устройства нашей государственной службы, начиная съ самыхъ низшихъ и до самыхъ высшихъ инстанцій, была бы крайне однообразна, суха, монотонна, вся состояла бы изъ подписанія бумагъ, написанныхъ канцелярскимъ слогомъ, дѣловыхъ разговоровъ съ личностями, сопричастными къ службѣ, да какихъ-нибудь ревизионныхъ поездокъ, обставленныхъ узкими рамками официального декорума. Я не думаю, чтобы подобного рода дѣятельность могла бы служить къ особенному обогащению поэтическаго творчества новыми, свѣжими и сильными впечатлѣніями. Въ жизни графа, какъ это бывало у нась издревле, со временемъ Державина, какъ это и теперь бываетъ зачастую въ жизни служащихъ поэтовъ, было бы, конечно, непроходимое раздвоеніе: съ одной стороны проза, съ другой поэзія; по утрамъ скучныя и сухія кипы предписаній, отношений, внушений и распоряженій, а по вечерамъ или ночамъ, въ часы свободнаго досуга, сладкия бесѣды съ музами.

Я не отрицаю, чтобы люди не могли вмѣщать въ себѣ по нѣскольку призваній и страстей. Поэтому я вполнѣ допускаю, что иной поэтъ можетъ съ такимъ же рвениемъ и увлеченіемъ по утру заниматься своими служебными обязанностями, съ какими по вечерамъ онъ бряцаетъ на лирѣ. Но мы видѣли, что гр. А. Толстой съ самого младенчества былъ совсѣмъ не такъ воспитанъ, чтобы быть способнымъ вмѣщать въ себѣ служебны

жаръ вмѣстѣ съ поэтическимъ. Мы видѣли, что онъ весь до мозга костей былъ проникнутъ служеніемъ музамъ, только жить и дышать, что своими волшебными мечтами; все же, чтѣ зовутъ серьёзныя дѣла, онъ ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно. Понятно, что такимъ образомъ онъ съ дѣтства былъ предуготованъ къ отказу отъ всевѣхъ блестящихъ карьеръ, и отказъ этотъ можно считать какимъ-либо особыеннымъ нравственнымъ подвигомъ въ такой же степени, въ какой съ вашей стороны было бы достойно удивленія, что, будучи музыкантомъ, вы не пошли бы въ моряки.

Если гр. А. Толстой въ сущности ровно ничего не потерялъ для развитія своего поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что отказался отъ обязанности посвящать нѣсколько часовъ дня занятіямъ, не имѣющимъ ничего общаго съ его поэтической дѣятельностью, то другой вопросъ: пріобрѣлъ ли онъ что либо своимъ отказомъ? принесло ли какую-нибудь пользу его творчеству исключительное посвященіе всего своего времени служенію музамъ? На первый поверхностный взглядъ казалось бы, что какъ же не принести пользы: чего же лучше, когда человѣкъ весь сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь дѣлѣ, всего себя отдаетъ ему,ничѣмъ не развлекаясь постороннимъ? При такихъ только условіяхъ, конечно, дѣло только и можетъ быть совершено вполнѣ успѣшно и принести наиболѣе плодовъ. Такъ-то оно такъ, да не всегда только бываетъ такъ. Вотъ тутъ-то именно и раскрывается передъ нами все необыкненное различіе искусства отъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. Другое совсѣмъ дѣло—ученый, философъ, медикъ, инженеръ и пр., и пр. Тѣ, конечно, чѣмъ болѣе середоточиваются въ своихъ занятіяхъ и чѣмъ болѣе посвящаютъ имъ времени, тѣмъ дѣло у нихъ идетъ успѣшище. Искусство же—совершенно наоборотъ: требуетъ какъ можно большаго разнообразія жизни. Чѣмъ болѣе поэтъ сталкивается съ разнохарактерными явленіями дѣйствительности, чѣмъ болѣе самъ онъ выносить всевозможныхъ испытаній и треволненій, тѣмъ болѣею массою живыхъ впечатлѣній обогащается его творчество и тѣмъ живѣе, разностороннѣе и могучѣе становится оно. Вы посмотрите на большинство первостепенныхъ поэтовъ всѣхъ странъ; возьмите во вниманіе жизнь Шекспира, Сервантеса, Мольера, Байрона, Гейне, Шиллера, Гете, Жоржъ-Занда, Виктора Гюго, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и пр. и пр. Біографіи всѣхъ этихъ поэтовъ отличаются крайнею пестротою вмѣшникъ событий ихъ жизни. Это вовсе не кабинетные затворники, всю жизнь проведшіе въ созерцаніи прекрасныхъ образовъ и дорожащіе каждой минутою, потерянною для служенія музъ, а напротивъ того — вѣчные скитальцы, которые сегодня не знаютъ, гдѣ будутъ завтра, искатели приключеній, изгнанники, страшныя натуры, которыхъ, подобно, какъ мотыльки на огонь, бросаются постоянно стремглавъ въ самый что ни есть бурный водоворотъ жизни. Если вы начнете слѣдить за событиями ихъ

жизни, затѣмъ, что ихъ занимало, интересовало, увлекало, начнете перечитывать массу ихъ писемъ или дневниковъ, то вы совершенно подчасъ забудете, что передъ вами поэты, или придете къ заключенію, что искусство занимало въ ихъ жизни самое ничтожное мѣсто, стояло на самомъ заднемъ планѣ. Пушкинъ былъ совершенно правъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетного свѣта
Онъ малодушно погруженъ.
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ мира,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Къ этой формулы отношенія жизни поэта къ его творчеству нужно развѣ присоединить только то, что, когда поэтъ малодушно погруженъ въ заботы суетного свѣта, когда между всѣхъ дѣтей ничтожныхъ мира онъ всѣхъ ничтожнѣе, эти моменты и представляются самыми роковыми для развитія его творчества. Въ эти моменты именно творчество его и обогащается новыми, живыми образами, развивается, ростетъ. Самая же жертва поэта Аполлону—это уже больше ничего, какъ заключительный актъ изверженія накопившагося материала, конечный результатъ всего, что вынесъ поэтъ во время своего погруженія въ заботы суетного свѣта.

И вотъ, если мы, принявши въ разсчетъ это важное условіе для развитія творчества, обратимся къ произведеніямъ графа А. Толстого въ связи съ его жизнью, мы тотчасъ и увидимъ, чего ему не доставало. Окажется, что не отсутствіе служебной карьеры мѣшало полному развитію его творчества, а недостатокъ разнообразія впечатлѣній и личныхъ опытовъ. Жизнь его и безъ того уже сдавлена была въ узкую колею великосвѣтскаго круга, а онъ еще болѣе ссыпалъ ее, посвящая большую часть времени замкнутому созерцанію прекрасныхъ образовъ искусствъ всѣхъ странъ и временъ. Теперь вы подумайте: какого рода поэта могли выработать подобныя условія? И раньше даже заглядыванья въ его произведенія, однимъ логическимъ выводомъ аргумент можно рѣшить этотъ вопросъ. Творчество поэта можетъ давать вамъ только то, что получается. Если-же мы видимъ, что оно по большей части возбуждается вовсе не какими-либо непосредственнымъ впечатлѣніями жизни, а отраженіями чуждыхъ впечатлѣній въ различныхъ произведеніяхъ искусства, такое творчество, очевидно, должно быть лишено всякой оригинальности и самобытности; оно должно непрестанно измѣняться, какъ хамелеонъ, смотря потому, какие поэты пришпориваютъ его въ ту или другую минуту. Произведенія поэта подобного типа должны представляться калейдоскопомъ, варіирующими на тысячу ладовъ образы, мотивы, метафоры и фигуры поэтовъ всѣхъ странъ.

временъ, но въ калейдоскопѣ этомъ въ то же время вы не найдете ни одного камешка или стеклышика, которые представлялись бы самостоятельными, особеннымъ вкладомъ самого поэта. Это — чужеядное растеніе, которое способно оказывается питаться скомъ какого угодно дерева, но только не дождется вы отъ него ни росинки его собственного сока. Да и странно было бы ожидать и требовать того, чего оно дать не въ силахъ, потому что у него нѣтъ почвы подъ ногами, да кромѣ того нѣтъ и корней, которыми оно могло бы утвердиться въ какой-либо почвѣ.

Наша литература, особенно прежнихъ, до-гоголевскихъ временъ, когда она сосредоточивалась исключительно почти въ великосѣтскихъ слояхъ общества, и когда любителямъ изящнаго было особенно удобно и ничто не мѣшало вести замкнутую жизнь созерцанія прекрасныхъ образовъ искусства различныхъ странъ и эпохъ, была обильна поэтами подобного чужеядного типа. Мы видимъ, что даже и Пушкинъ славился способностью принимать на себя личины какихъ угодно западныхъ поэтовъ: то онъ корчилъ изъ себя Шенье, то Байрона, то Гёте, то Данта и пр., и пр. Но онъ жилъ слишкомъ разнообразно и бурно жизнью и судьба слишкомъ мѣшала ему сосредоточиваться въ кабинетной художественной созерцательности, чтобы изъ него могъ выработать исключительно типъ чужеядного творчества. Вследствіе этого, творчество его, обогащенное массою живыхъ и непосредственныхъ впечатлѣній, особенно въ эпоху скитальчества по югу Россіи и затѣмъ житья въ деревнѣ, создало массу произведеній вполнѣ самобытныхъ, заключающихъ въ себѣ образы и мотивы, принадлежащіе исключительно Пушкину и никакому иному поэту во всемъ мірѣ. Наиболѣе же полнымъ и совершеннымъ представителемъ чужеядного творчества, сопричисленнымъ даже къ лицу классическихъ писателей литературы, былъ, безъ сомнѣнія, Жуковскій, творчество которого только тогда и возбуждалось во всей своей силѣ, когда онъ переводилъ иностранныхъ поэтовъ или подражалъ имъ. Когда же онъ пытался быть самимъ собою, не Шиллеромъ, не Гёте, не Гомеромъ, не Уландомъ или Гебелемъ, а только Жуковскимъ, изъ подъ его пера выливалось иѣчто безцвѣтно-тигучее и приторно-слащавое, сентиментально-плаксивое, риторичное, растянутое и въ настоящее время совсѣмъ ужъ неудобочитаемое; однимъ словомъ, иѣчто подобное тѣмъ паточнымъ грошовымъ леденцамъ изъ мелочной лавки, которые мы могли сосать въ дѣтствѣ, но на которые въ настоящее время не можемъ безъ ужаса смотрѣть.

Графъ А. Толстой представляется именно такого рода поэтомъ и его, по всей справедливости, можно назвать Жуковскимъ нашего времени, въ чёмъ можетъ убѣдить насъ вполнѣ анализъ его произведеній, къ которому мы теперь и приступаемъ.

Прежде всего, скажемъ нѣсколько словъ о его тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, чтобы сразу порѣшить съ небольшою серіею

этикъ произведеній, совершенно несвойственныхъ его таланту, и затѣмъ приступить къ такимъ, которыхъ вполнѣ выражаютъ собою характеръ его творчества.

Общее мнѣніе о графѣ А. Толстомъ, въ этомъ отношеніи, еще задолго до его смерти утвердилось такое, что графъ А. Толстой не отличался особенно послѣдовательностью и стойкостью относительно гражданскаго направлѣнія своей лиры, что рядомъ съ весьма либеральными стихотвореніями вы найдете у него и та-кія, которыхъ вполнѣ согласуются съ тенденціями «Русскаго Вѣстника»; найдете и въ славянофильскомъ духѣ, хотя по характеру всей его поэтической дѣятельности, графа А. Толстого никакъ нельзя назвать славянофиломъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Однимъ словомъ, въ продолженіи своей жизни, графъ успѣлъ раздѣлъ всѣмъ сестрамъ по сергамъ, но не съ одной сестрой близко не сошелся и не вступилъ въ законный бракъ. Ну и опять-таки одни при этомъ начали головой, приписывая политическую непослѣдовательность графа его недоразвитости, недодуманности, а другіе превозносить его, видя въ этомъ же самомъ художественно-философское безпристрасіе поэта, парящаго своею творческою фантазіею превыше всѣхъ условныхъ и прѣходящихъ тенденцій дня. Самъ графъ А. Толстой объясняетъ свой политический индеферентизмъ въ небольшомъ стихотвореніи слѣдующаго содержанія:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими—досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ не одинъ не могъ меня привлечь;
Союза полного не будеть между нами—
Не купленный никѣмъ, подъ чѣ-бѣ ни стать я знамя,
Приостранской ревности друзей не въ силахъ снести,
Я знамени врага отстаивать бы честь.

Не правда ли, какъ это темно, неопределенно и въ тоже время поверхности и легкомысленно? Видно, что графъ А. Толстой совершенно не постигалъ, что значитъ быть привязану къ той или другой партии, къ тому или другому дѣлу органическою, естественно-свободною связью святыхъ убѣждений, сросшихся съ человѣкомъ. Онъ понималъ не иначе, какъ внѣшнюю связь въ видѣ какой-то клятвы, къ которой нужно быть привлечену со стороны. А ниже еще курьезнѣе: оказывается, что для того, чтобы твердо стоять за своихъ и не отставать чести знамени врага, т. е. не быть измѣнникомъ, нужно быть непремѣнно купленнымъ, а такъ какъ графа А. Толстого никто не позабылся купить, то... то, я полагаю, что гр. А. Толстой до конца дней своихъ не догадался, какою возмутительностью онъ нечаянно обмолвился. Я говорю «нечаянно», потому что никакимъ способомъ не могу допустить, чтобы графъ А. Толстой сознательно огъ обнаружить подобную душевную низость и чтобы на са-мъ дѣлѣ онъ былъ присущъ ей. Нечаянность этой обмолвки

произошла, по моему мнѣнію, ни изъ чего иного, какъ именно изъ того, что графъ никогда и не задумывался о томъ серьзно: чѣдѣ значить органически, душою и тѣломъ принадлежать къ какому-нибудь лагерю? А не задумывался онъ потому, что не было никакихъ побудительныхъ поводовъ, вовсе не для чего было задумываться ему объ этомъ. Принадлежность къ какому-либо лагерю ему съ дѣтства и до сѣдыхъ волосъ ногруженному въ міръ волшебныхъ, поэтическихъ грезъ, была совершенно въ такой же степени излишня, какъ и блестящая карьера. При его замкнутой жизни, до него могли только долетать изрѣдка кое-какіе неопределенные отголоски шума и гама современной жизни, и, когда ему приходило въ голову отражать эти звуки въ своихъ пѣснопѣніяхъ, они выходили у него въ той же безвязности, въ какой доносились до его ушей. И если вы внимательно прочитаете любое изъ подобныхъ произведеній, то вы увидите, что въ каждомъ изъ нихъ главную сущность составляетъ нестолько выраженная идея, сколько внѣшняя художественность или игривость поэтическаго образа, причемъ поэтический образъ до такой степени всегда владѣетъ художникомъ, что влечеть его порою въ такія дебри, въ которыхъ онъ вовсе и не подумалъ бы самъ по себѣ забираться, еслибы его не завела туда безотчетно художественная фантазія. Такъ напримѣръ, возьмите хотя бы его «Пантелея», который въ свое время произвелъ большую сенсацію. Нѣкоторые напали на него не только за тенденціозность въ московскомъ духѣ, но и за то, что графъ будто бы вздумалъ проповѣдывать тѣлесное наказаніе, побуждая своего Пантелея-цѣлителя не жалѣть палки суковатыя на людей.

Что леченiemъ всякихъ гнушаются,
Они звона не терпять гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взѣсть, не смѣрати,
Все, кричать они, надо похоронятъ!
Только-то, говорять, и дѣйствительно,
Что для нашего тѣла чувствительно;
И приемы у нихъ дубоваты,
И ученье-то ихъ грязновато!

Во мнѣ, по крайней мѣрѣ, стихотвореніе это возбудило одну снискодительную улыбку. Чѣмъ же, подумалъ я, виновать мечтательный графъ, что въ его поэтическихъ заоблачныхъ сферахъ буйный вѣтеръ занесъ темные слухи о томъ, что есть какіе-то ехидные люди, которые бѣгаютъ отъ докторовъ и отъ гуслярнаго звона, рыскаютъ по базарамъ и что-то тамъ все покупаютъ... Чѣдѣ же касается сучковатой палки Пантелея, то чѣдѣ же было дѣлать графу, если его поэтической фантазіи приснился св. Пантелея-цѣлитель, грозящій сучковатою палкою. Какое же иное отношеніе къ ехиднымъ людямъ со стороны Пантелея могъ придумать гр. Толстой сообразно этому представлению, какъ не въ видѣ угрозы палкою? Очевидно, что тутъ вовсе и тѣни нѣть со стороны поэта какой-либо сознательно-злостной пропаганды, чего-

либо въ родѣ шипиругутиковъ, а просто-по-просту — игравость ю-
тическаго образа, завлекшая поэта въ дикия дебри. Не менѣе
курьёзна и баллада «Потокъ-богатырь», въ которой шаловливы
фантазія поэта вздумала заставить «Потока» видѣть во снѣ всю
российскую исторію во всѣхъ ея периодахъ и, въ концѣ-концовъ,
очутиться въ анатомическомъ кабинетѣ медико-хирургической
академіи и тамъ прійти вдругъ въ неописанный ужасъ, что
стриженныи женщины препарируютъ трупы:

Ужаснулся Потокъ, отъ красавицъ бѣжать,
А онѣ восклицаютъ ехидно:
— Ахъ, какой онъ *помялътъ!* ахъ, какъ онъ *не разуменъ!*
Современности вовсе не видно!
Но Потокъ говорить, очутясь на дворѣ:
— То-же бывало у наст и на Лисой Горѣ,
Только вѣдьмы, хоть голы и босы,
Но, но крайности, есть у нихъ косы!

Чтѣ это такое, какъ опять-таки не дикия дебри, въ которыи
ввлекла нашего поэта досужая фантазія? Вѣдь вы подумайте
только о всей курьёзности вымысла: заставить вдругъ современ-
ника Владимира Святаго присутствовать въ анатомическомъ музѣ
XIX столѣтія! Чтѣ-же тутъ удивительного, что подобный ар-
ханческий герой, покрытый ржавчиной десяти вѣковъ, нетолько
долженъ прійти въ ужасъ при видѣ вскрываемыхъ труповъ, во
и просто не понять, что такое вокругъ него дѣлается. Но уди-
вительно то, что, создавъ подобную нелѣпую фантасмагорію,
поэтъ воображаетъ, что онъ жестоко поражаетъ устами Потока
ненавистную ему современність, не замѣчая, что онъ больше
ничего, какъ только самъ принижается до уровня понятій времень
X столѣтія. Спрашивается теперь: неужели слѣдуетъ смо-
трѣть на подобныя вещи, какъ на нѣчто серьеъзное, какъ на чѣ-
то продуманное и прочувствованное, какъ на ядовитыя стрѣлы,
которыя кого-либо могутъ поразить, а не какъ на мыльные пу-
зыри, главная сущность которыхъ заключается вовсе не въ томъ,
что въ нихъ заключается, а единственно въ разноцвѣтныхъ от-
раженіяхъ снаружи? И замѣтьте, что подобною галантерейностью
отличаются вовсе не одни только тенденціозныи произведения,
преслѣдующія ехидныхъ людей, что

Звона не терпять гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго...

Нѣть, возьмите вы стихотворенія, посвященные совсѣмъ инымъ
тенденціямъ и въ нихъ вы найдете ту же бѣдность содержанія
и преобладаніе вѣнчаной игравости фантазіи или формы. Обратите
вниманіе, напримѣръ, на стихотвореніе

Государь ты нашъ батюшка,
Государь Петъръ Алексѣевичъ.

Стихотвореніе это, напечатанное въ «Днѣ», въ свое время про-
вело не малую сенсацію, благодаря, конечно, тому, что это былъ
первый мало-мальски политический намѣтъ, допущенный въ и-

тературу. Но что это такое въ сущности, какъ не самое общее, *намазолившее* всѣмъ глаза славянофильское мѣсто о непригодности реформъ Петра, выраженное въ грациозно-игривыхъ и шутливыхъ виршахъ? Неужели и это стихотвореніе можно принимать въ серьезъ, какъ выраженіе зрылой, глубокой и серьезнѣйшей идеи? Меня, по крайней мѣрѣ, эта шутка занимала всегда только со стороны ея формы, и при этомъ я никакъ не могу отрѣшиться отъ мысли, что оно словно нарочно написано для дѣтей четырехъ и пятилѣтнихъ, едва начинающихъ лепетать. По крайней мѣрѣ, сколько мнѣ ни приходилось слышать его, никогда оно не казалось мнѣ столь прелестнымъ, какъ въ устахъ ребенка, декламирующаго:

Государь ты нашъ батюська,
Государь Петъ Алексѣевичъ,
Что ты изволился въ котѣ валити?
Касицу, матуска, касицу,
Касицу, судальня, касицу и проч.

При всемъ этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вамъ еще вотъ на какое, весьма, по моему, замѣчательное и характеристическое обстоятельство: замѣтьте, что единственное серьѣзное, сильное, прочувствованное, тенденціозное стихотвореніе, о которомъ вы не скажете, что содержаніе въ немъ — дѣло второстепенное, а главная суть заключается въ затѣйливомъ образѣ — это стихотвореніе, носящее заглавіе «Противъ теченія»:

* *

«Други, вы слышите-ль крикъ оглушительный:
«Сдайтесь, пѣвцы и художники! Естади ли
«Вымыслы ваши въ нашъ вѣкъ положительны?
«Много ли васъ остается, мечтатели?
«Сдайтесь натиску нынѣшаго времени!
«Миръ отрезвился, прошли увлеченія —
«Гдѣ-жъ устоять вамъ, отжившему племени,
«Противъ теченія?»

* *

Други, не вѣрьте! Все тоже единая
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстнала,
Та же пѣгнѣяетъ насъ пѣснь соловьиная,
Тѣ же настъ радуютъ звѣзды небесныя!
Правда все та же! Средь ирака венастнаго,
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
Дружно гребите, во имя прекраснаго,
Противъ теченія! и проч.

Очень понятно, откуда взялась сила и прочувствованность этого стихотворенія. Во всѣхъ прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ дѣло шло о вещахъ, совершенно постороннихъ для поэта, до которыхъ ему въ сущности не было рѣшительно никакого дѣла и насчетъ которыхъ онъ не считалъ интереснымъ и нужнымъ особенно много задумываться. Здѣсь же совершенно наоборотъ: онъ задѣтъ за живое; дѣло идеть адѣсь о томъ, что исключительно составляло все содержаніе его жизни — обѣ иску-

ствъ. И вотъ въ немъ подымается борецъ, отчаянно отстаивавшій свое единственное достояніе. Вы видите въ этомъ стихотвореніи того самого 14-лѣтнаго мальчика, который когда-то оберегалъ купленного дядю фавна отъ минимаго пожара. Удивительную цѣльность характера представляеть въ этомъ отношеніи графъ А. Толстой. Рѣдко въ комъ вы встрѣтите такую строгую послѣдовательность, проходящую черезъ всю жизнь, съ самого раннаго дѣтства и до могилы. Разъ посвятивши всю жизнь, всѣ свои помышленія искусству и до гробовой доски не измѣнилъ своему самоотверженному служенію, несмотря ни на какія препятствія или соблазны, понятно, что онъ только и могъ проникнуться единственнымъ общественнымъ интересомъ вполнѣ искренно, живо и горячо при видѣ враговъ предмета его пламенаго поклоненія; только эти враги и могли быть его врагами, только они и были способны вывести его изъ себя. Замѣтьте, что и во всѣхъ почти прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, о чёмъ бы въ нихъ ни шла рѣчь, онъ не упускалъ случая проクリчать лишній разъ караулъ противъ дерзновенныхъ покушений на гуслярный звонъ.

И не злая ли иронія судьбы, что самые пламенные и самоотверженные любовники рѣдко бывають, въ то же время, счастливыми любовниками. Вспомните душевныя муки Сальери при горькомъ сознаніи, что

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?..

Точно также и графу А. Толстому за все его пламенное и самоотверженное поклоненіе искусству, за всѣ его труды, усердіе и моленія злая иронія судьбы не дала въ награду такого достоянія, какое одно только и составляетъ всю гордость и почетъ поэта: не дала ему никакой собственной поэтической физиономіи и не внушила ему ни одного вполнѣ самобытнаго произведенія. И такая злая насмѣшка судьбы была не однімъ слѣпымъ фатумомъ. Напротивъ того, именно излишнее посыпаніе всей жизни художественной созерцательности и было, какъ выше уже обѣ этомъ я говорилъ, главною причиной этой бѣды.

Въ самомъ дѣлѣ, оставимъ въ сторонѣ вопросъ о тенденціозности, о внутреннемъ содержаніи стихотвореній гр. А. Толстого, будемъ рассматривать ихъ съ одной чисто художественной стороны. Вѣдь стихотворенія, написанныя безо всякой какой-либо философской или политической цѣли, вполнѣ въ духѣ чистаго искусства, самые невиннѣйшія по своему содержанію, могутъ, тѣмъ не менѣе, быть вполнѣ самобытными, носить неизгладимую печать народности, эпохи и личной индивидуальности поэта. Вы

возьмите, напримѣръ, массу лучшихъ стихотвореній Пушкина, ну, хоть его балладу, «Бѣсы», или стихотвореніе

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна...

стихотворенія эти только и могъ написать, что русскій поэтъ и притомъ русскій поэтъ, жившій въ эпоху Пушкина, когда не существовало еще въ Россіи желѣзныхъ дорогъ, и очевидно, поэтъ этотъ, чтобы написать подобный стихотворенія, долженъ былъ порядкомъ поѣздить по россійскимъ дорогамъ того времени, и притомъ поѣздить не въ какихъ-либо заграничныхъ рессорныхъ экипажахъ, лежа на мягкихъ пуховикахъ и летя на курьерскихъ, а на перекладныхъ и на долгихъ, въ простыхъ ямщицкихъ телегахъ — испытать, однимъ словомъ, всѣ невзгоды и всю скучу старинной русской дороги. Букетъ этихъ русскихъ дорожныхъ впечатлѣній и составляетъ всю прелестъ, все обаяніе этихъ стихотвореній и всю ихъ самобытность. Или возьмите вы, напримѣръ, «Завѣщаніе» Лермонтова. Это невиннѣйшее по своему содержанію, отличающееся крайнею простотою и незатѣмливостью, но въ то же время глубоко трогательное стихотвореніе, способное вызвать въ иномъ читателѣ слезу, отличается въ то же время самою рѣзкою самобытностью. Написать его могъ, очевидно, только русскій писатель, и притомъ только такой русскій писатель, который потолкался на Кавказѣ, подобно Лермонтову, не просто только путешествовалъ опять-таки въ комфортѣблѣнномъ дормезѣ, любясь изъ оконъ экипажа на живописныя картины, но именно потолкался и своими глазами видѣль и прочувствовалъ, какъ умираетъ, затертый судбою въ кавказскихъ горахъ простой и безхитростный русскій армейскій офицерикъ. Возьмемъ, наконецъ, Некрасова, и я нарочно указываю въ настоящемъ случаѣ на этого поэта, имѣя въ виду, что въ нѣкоторыхъ литературныхъ лагеряхъ утвердилось мнѣніе, будто поэтъ этотъ превозносится исключительно только за тенденціозность его стихотвореній въ современномъ духѣ. Нѣть, я вамъ укажу на такое стихотвореніе его, въ которомъ нѣть ни малѣйшей тѣни какой-либо тенденціозности. Вотъ, напримѣръ, прочитайте его «Бурю»:

Долго не сдавалась Любушка сосѣдка;

Наконецъ шепнула: есть въ саду бесѣдка...

Стихотвореніе это выражаетъ ничего болѣе, какъ только торжество любовника, къ которому явились на свиданіе, несмотря на дождь и бурю, и который изъ этого убѣждается въ силѣ любви къ нему женщины — тѣма самая безобразная для какого угодно литературного лагеря и притомъ самая общечеловѣческая для всѣхъ временъ и странъ. И Гейне, и Байрону, и Гёте, и Шенѣ, и какому-нибудь средневѣковому провансальскому труберу, и автору «Пѣсни пѣсней» могло прйті въ голову написать стихотвореніе на подобную же тѣму; можетъ быть, даже въ западныхъ литературахъ вы и найдете нѣчто подобное. Но при всей такой общности тѣмы, стихотвореніе Некрасова отличается, тѣмъ не

меньше, самою яркою и полной самобытностью. Отъ него такъ и вѣть свѣжимъ букетомъ жизни, и притомъ не какой-нибудь иной, какъ именно русской жизни. У иностранного поэта, навѣрное, та же самая тѣма будетъ имѣть совершенно иное выраженіе, представить вамъ иной букетъ; стихотвореніе же Некрасова могъ написать только русскій поэтъ, и изъ современныхъ русскихъ поэтовъ—только Некрасовъ.

Но зачѣмъ брать такихъ первостепенныхъ поэтовъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, когда и у Фета, и у Тютчева, и даже у Ап. Майкова вы найдете стихотворенія, отмѣченныя печатью жизни и самобытности?

Но найдите мнѣ хоть одно такое стихотвореніе у графа А. Толстого, одолѣвши которое, вы почувствовали бы, что прочли вѣчно совершенно новое и небывалое еще ни въ иностранной, ни въ русской литературѣ, нѣчто, неотъемлемо принадлежащее гр. А. Толстому. Напротивъ того: что ни примитеся читать, такъ сейчасъ же на васъ и побѣть чѣмъ-нибудь давно уже знакомымъ вамъ и читаннымъ гдѣ-то прежде; нѣкоторыя же произведения носятъ на себѣ саму явную печать тѣхъ или другихъ западно-европейскихъ или русскихъ писателей. Такъ, напримѣръ, найдете вы и произведенія, очевидно, навѣянныя Лермонтовымъ («Вотъ ужъ снѣгъ послѣдний въ полѣ таетъ», «Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья», «Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ», «Горами тихо летья душа небесами»); нѣкоторыя напомнать вамъ Гейне («Змы, что по скаламъ влечешь свои извины» и многіе Крымскіе очерки, какъ, напримѣръ: «Вы все любуетесь на скалы» или «Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты»). Драматическая поэма «Донъ-Жуанъ», очевидно, внушена изученіемъFaуста Гёте, а «Драконъ», итальянскій разсказъ XII вѣка, носить на себѣ несомнѣнныя слѣды изученія Данта и проч., и проч.

Въ возраженіе на это, вы мнѣ, конечно, укажете на цѣлую массу стихотвореній гр. А. Толстого, написанныхъ въ народномъ духѣ и даже размѣрами народныхъ пѣсень, въ родѣ «Ходить спѣсь надувачись», «Кабы знала я, кабы вѣдала», «Колокольчики мои, цвѣтики степные», «Не Божіимъ громомъ горе ударило», цѣлый рядъ, наконецъ, былинъ и балладъ изъ русской исторіи и пр., и пр.

Ну, что-жъ такое, что стихотворенія эти написаны въ духѣ народныхъ пѣсень и даже ихъ размѣрами, что нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ очень искусную и удачную поддѣлку подъ нихъ?—это никакъ еще не говорить въ пользу ихъ самобытности. Истинно самобытныи можетъ быть названо только такое произведеніе, которое создается подъ вліяніемъ непосредственныхъ впечатлѣній жизни; создавая его, поэтъ вовсе не думаетъ о томъ, чтобы произведеніе было написано въ народномъ духѣ, а стремится только выразить то, что наполняетъ его душу. Оно можетъ быть совершенно непохоже ни на одну народ-

ную пѣсни, ни по содержанію, ни по формамъ, представлять изъ себя нѣчто совершенно новое и небывалое, написанное совершенно особеннымъ размѣромъ, только-что изобрѣтеннымъ самимъ авторомъ, и, тѣмъ не менѣе, быть вполнѣ народно-самобытнымъ. Однимъ словомъ, въ подобнаго рода произведеніяхъ вы видите не одну только племенную самобытность, но и выраженіе индивидуальности поэта. Писать же стихотворенія въ народномъ духѣ, въ родѣ тѣхъ, какія писалъ гр. А. Толстой— это совсѣмъ другое дѣло. Для этого вовсе ненужно жить непосредственно народною жизнью и притомъ бойко, горячою жизнью, втягивать въ себя всѣми порами своего существованія народныя радости и народныя страданія, а напротивъ того, совершенно достаточно, не выходя изъ кабинета, изучить нѣсколько сборниковъ народныхъ пѣсень, начиная съ Кирши·Данилова и Сахарова и кончая сборниками Кирѣевскаго, Рыбникова и Худакова.

Такимъ образомъ, стихотворенія гр. А. Толстого, о которыхъ мы говоримъ, представляютъ продуктъ все того же самаго отвлеченнаго, кабинетнаго творчества, которое я называю чужеземнымъ. Писать такимъ образомъ можно въ духѣ какой угодно народности, совершенно безотносительно, къ какому народу принадлежитъ самъ авторъ. И я не понимаю, чѣмъ могутъ отличаться, по процессу созданія, стихотворенія гр. А. Толстого въ духѣ русской народности отъ стихотвореній того же автора въ духѣ народности итальянской 12-го столѣтія, въ родѣ «Дракона», отъ стихотвореній въ духѣ народности шотландской, въ родѣ баллады «Эдвардъ», отъ пѣсень въ духѣ народности южныхъ славянъ Пушкина, отъ испанскихъ, греческихъ, еврейскихъ и т. п. мотивовъ Щербины или Вс. Крестовскаго. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ вы и слѣда не найдете искреннаго, неподдѣльного чувства, живой, горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ, того, что составляетъ всю прелесть и всю силу истинной и вполнѣ естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ таѣтъ и вѣтъ холодомъ искусственного вымысла, тяжелыми усилиями кронотливой художественной отвѣтки, мучительными потѣніями надъ инымъ неукладывающимся въ размѣръ стихомъ или недающейся риѳомъ.

Особенно эти замѣчанія слѣдуютъ отнести къ былинамъ гр. А. Толстого, въ родѣ Алѣши Поповича, Ильи Муромца, Садко, Зибы Тугарина и пр. Я не буду ужъ распространяться много о всей эфемерной галантерейности этихъ произведеній гр. А. Толстого, о крайней праздности кабинетной фантазіи, услаждавшей поэтическіе досуги тѣмъ, чтобы заставить Садко лишній разъ проплысать передъ морскимъ царемъ, Алѣшу проѣхаться по Днѣпру въ лодочкѣ съ похищенной красоткой или Илью Муромца отпустить еще нѣсколько ругани противъ Владимира и кievскихъ порядковъ. Но и со стороны мнимой народности этихъ произведеній графа, я спрашиваю у васъ: скажите, чѣмъ отличается эта

вычитанная изъ сборниковъ и п'есъ народность отъ народности тѣхъ чугунныхъ или фарфоровыхъ прессъ-шапы, которые изображаютъ русского мужика, Ѣдущаго на саняхъ въ лѣсъ за дровами, бабу, прядущую лёнъ, или подгулявшаго крестьянина, ведомаго домой подъ ручку озабоченой и раздраженной супругой? Подобныя статуэтки могутъ быть вполнѣ правильны, типичны, даже изящны, могутъ служить прекрасными украшениями для вашего письменного стола; но кому же придется въ голову при созерцаніи ихъ подымать вдругъ какіе-нибудь серьёзные эстетические вопросы и вообразить, что творцовъ ихъ можно назвать самобытными художниками, внесшими какой бы то ни было свой собственный вкладъ въ русское искусство? А вѣдь они съ неменьшимъ, пожалуй, успѣхомъ, чѣмъ и гр. А. Толстой, могли бы изобразить вамъ и Алѣшу Поповича, услаждающаго гуслярнымъ звономъ похищенную красавицу, и плашущаго Садко, и Илью Муромца, Ѣдущаго на конѣ съ мрачнымъ и насупленнымъ видомъ.

Какъ бы то ни было, а стихотворенія гр. А. Толстого, напѣянныя разными поэтами или написанныя въ духѣ различныхъ народностей, можно считать все-таки лучшими и наиболѣе удачными. Отъ нихъ вѣеть, по крайней мѣрѣ, духомъ той поэзіи, которая вдохновляла графа и подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Чѣ-же касается до вполнѣ самостоятельныхъ произведений его, въ которыхъ онъ является передъ нами только графомъ А. Толстымъ и никѣмъ болѣе, то всѣ они столь-же безхарактерны и слабы, какъ и подобныя же имъ самостоятельные произведения Жуковскаго. Между прочимъ, слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое весьма характеристическое явленіе. Графъ А. Толстой, какъ это видно изъ многихъ мѣстъ его автобіографіи, былъ большой любитель природы. Мы видѣли, съ какимъ паѳосомъ отзывался онъ о вліяніи на него малороссійской природы, среди которой онъ провелъ всю свою жизнь. Въ другомъ мѣстѣ своей автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить цѣлые недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, но обыкновенно въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его воспѣваютъ по большей части въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзіи почти столько же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ, графъ очень часто обращается къ природѣ и отличается немалою щедростью въ описаніяхъ ея красоты. Но замѣчательно, что всѣ эти описания составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая эти описанія, вы не чувствуете и тѣни того обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведения нашей литературы.

этотъ родъ, не говоря уже о Пушкинѣ, Лермонтовѣ или Гоголѣ, но даже описанія С. Аксакова или Тургенева. Гдѣ ужь тутъ толковать о воспроизведеніи впечатлѣній, внушеныхъ природою, когда изъ описаній гр. А. Толстого вы не въ силахъ обыкновенно представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идеть рѣчь. Передъ вами вовсе не живыя, художественные картины, а простой перечень предметовъ въ разсыпную, при чмъ воображенію вашему, если оно живо и богато, представляется самому слагать эти предметы во чѣ-нибудь цѣльное и связное. Такъ, напримѣръ, казалось бы, что ужь какой иной природѣ, какъ не малороссійской слѣдовало бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, особенно если мы примемъ во вниманіе, что онъ все дѣтство провелъ среди нея и съ какимъ восторгомъ говорить онъ о ея вліяніи на него. А между тѣмъ, этого-то именно вліянія вы и не найдете въ его стихотвореніяхъ, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи и только развѣ проѣзжалъ черезъ нее и видѣлъ ее мелькомъ. Не говоря уже о Гоголѣ, даже различные второстепенные малороссійские писатели, въ родѣ Гребенки или Марко-Вовчка, даютъ вамъ гораздо болѣе ясное и опредѣленное представленіе малороссійской природы въ ея характеристическихъ особенностиахъ, чмъ описанія гр. А. Толстого. Вы прочтите, напримѣръ, стихотвореніе, специально посвященное воспѣванію малороссійского края «Ты знаешь край». Что здѣсь воспѣвается не что либо иное, какъ Малороссія, можно судить только потому, что упоминаются въ разныхъ мѣстахъ названія, относящіяся къ этой странѣ, въ родѣ парубковъ, Маруси, Грицѣ, Чубовъ, казачекъ или историческія имена въ родѣ Кочубея, Мазепы, Палъя, Сагайдачнаго. Чѣ же касается ко лорита и характеристическихъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ самыхъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтою съ Малороссіей. Вотъ для примѣра отрывки изъ этого стихотворенія:

Ты знаешь край, гдѣ все обильемъ дышетъ,
Гдѣ рѣки лаются чище серебра,
Гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышеть,
Въ вишневыхъ рощахъ тонуть хутора,
Среди садовъ деревья тянутся долу,
И до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый?

Шумъ тростника надъ озеромъ трепещетъ,
И чисты, и тихи, и ясна сводъ небесъ,
Косарь поетъ, коса звенитъ и блещетъ,
Вдоль берега стоитъ кудрявый лѣсъ,
И къ облакамъ, клубясь надъ водой,
Бѣжитъ дымокъ синющею струею?

Какъ ты думаешь, читатель, знаешь ты такой край? Чѣ это такое? Венгрия, Богемія, Силезія, а, можетъ быть, и Нормандія

или Пикардія? Вѣдь во всѣхъ этихъ мѣстностахъ могутъ существовать всѣ признаки, означенныя въ приведенныхъ нами двухъ куплетахъ: и обицѣ, и рѣки чище серебра, и деревы, гнувшіяся долу отъ тяжести плодовъ, и трепещущій надъ озеромъ тростникъ, и ясный, тихій и чистый сводъ небесъ, не говоря ужъ о кудравомъ лѣсѣ вдоль берега и дымѣ, клубящемся надъ водою. Все, что напечатано курсивомъ въ приведенномъ отрывкѣ составляетъ самыя банальныя общія мѣста, не курсивомъ же напечатано всего два стиха, но вѣдь и въ нихъ собственно мало-российскаго только и есть, что одно слово — хуторъ. Или вотъ замѣтъ другой куплетъ, который я имѣю полное право совершенно преобразить въ картину тирольскаго селенія, перемѣнивъ цѣломъ куплетъ всего одно слово:

Ты знаешь край, гдѣ утромъ въ воскресенье,
Когда росой подсолнечникъ блеститъ,
Такъ звонко льется жаворонка пѣнье,
Стада блѣтъ, а колоколь гудить,
И въ Божій храмъ, увѣнчанный цѣѣтами,
Идутъ тирольцы пестрыми толпами?

Вслѣдствіе отсутствія всей прелести обаянія мѣстнаго колорита воспѣваемаго края и наполненія стихотворенія банальными общими мѣстами, оно невольно принимаетъ характеръ сухаго, холоднаго и натянутаго риторизма. Можетъ быть, этотъ риторизмъ гр. Толстой и принималъ за мажорный тонъ своей поэзіи. Фактъ этотъ меня глубоко поражаетъ: какъ это такъ — почти родиться въ Малороссіи (мы видѣли, что его туда привезли шестинедѣльнымъ ребенкомъ), прожить тамъ девять лѣтъ, часто возвращаться потомъ въ родимую деревню, каждый разъ быть не въ силахъ видѣть тѣ мѣста безъ особенного волненія, и, вмѣсть съ тѣмъ, не вынести изъ мѣстъ этихъ ни одной живой краски ихъ колорита, ни одной задушевной нотки или черточки быта обитателей этого края, ихъ радостей и страданій, обычаевъ, повѣрій и пр. Это только и можно объяснить крайнейю изолированностью жизни гр. А. Толстого, особенно въ дѣствій. Въ то время, какъ Гоголь, Грицко-Основяненко или даже Гребенка и прочіе писатели, возросшіе въ Малороссіи, жили въ родительскихъ домахъ непосредственною жизнью края и имѣли болѣе тѣсныя сношенія съ разными его слоями, между прочими, и съ простымъ народомъ, графу А. Толстому, конечно, только издали, изъ окна усадьбы кое-когда приходилось видѣть, какъ

Парубки, кружася на пожнѣ гладкой,
Взрываются пыль веселой присадкой.

Но и эти буколическія картины, конечно, не столько его занимали, какъ какой-нибудь неизвѣстно когда и какъ сорванный гіацинтъ, запахъ которого погружалъ его въ разныя чудныя видѣнія, уносившія его за тридевять земель отъ окружавшей дѣствительности. Гдѣ же тутъ было напечататься живыми впечатлѣніями этой дѣствительности?

Вы посмотрите, какими общими неопределенно-стереотипными чертами изобразил онъ, между прочимъ, и характеръ вообще русской природы:

Край ты мой, родимый край!
Конский бѣгъ въ волѣ!
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!
Волчій гоюсь въ полѣ!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, борт дремучій!
Свистъ полночный соловья!
Вѣтеръ, степь и тучи!

Не правда ли, что подобное восьмистишіе опять-таки можно отнести къ какой угодно степной мѣстности, но меньше всего я отнесъ бы его къ Россіи, потому что, подумайте: ну, можно ли сказать, чтобы «въ небѣ крикъ орлиныхъ стай» составлялъ одинъ изъ характеристическихъ признаковъ русской природы? Еслибы еще графъ сказалъ «воронихъ стай»—это куда бы еще ни шло, а то вдругъ орлиныхъ! Я уже не говорю о томъ, что очень сомнительно, чтобы орлы летали стаями.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, вслѣдствіе крайне замкнутой и изолированной жизни, можетъ быть богатъ внутреннею жизнью, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ цѣлый рядъ весьма любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ или философскихъ процессовъ. Но и этого мы не можемъ сказать о гр. А. Толстомъ. Относительно обще-философскаго міросозерцанія, гр. А. Толстой представляется намъ стоящимъ вполнѣ и всецѣло въ уровнѣ того великосвѣтскаго кружка, въ средѣ котораго онъ воспитался и прожилъ всю жизнь. Убѣжденія его, ясныя и определенные, словно отлиты изъ бронзы и въ неизмѣнной формѣ проходащи черезъ всю жизнь безъ малѣшихъ колебаній и какого-либо движенія, поражаютъ васъ крайнею узостью чисто формального пѣтизма, давающаго васъ, словно низенький потолокъ надъ головою. Это—самая низшая ступень чисто дѣтскаго мистицизма, но мистицизма совершенно особенного рода. Мистицизмъ мистицизму—розв. И у г. Достоевскаго, и у гр. Л. Толстого, и у г. Тургенева вы найдете немалыхъ дозы мистицизма. Но мистицизмъ у этихъ писателей все-таки имѣть, съ одной стороны, свою собственную поэтическую окраску, а съ другой—въ немъ видна хоть какая-нибудь самостоятельная работа мысли. Мистицизмъ же гр. А. Толстого заключается, напротивъ того, въ полномъ отреченіи отъ всякаго покушенія на мало-мальски самостоятельную мысль, въ рабской вѣрности буквѣ. Однимъ словомъ, это—вовсе не тотъ мистицизмъ, который въ поэзіи создаетъ образы, хотя и дико-фантастичные, но нелишенные своеобразной прелести, а тотъ, который подъ часъ, ради подобо-страстной вѣрности традиціи, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности. Это мы можемъ видѣть съ большою нагляд-

ностю въ драматической поэмѣ гр. А. Толстого «Донъ-Жуанъ». Поэма эта, навѣянная «Фаустомъ» Гёте, нужно признаться, предстаетъся однимъ изъ самыхъ неудачныхъ подражаній тѣмъ западнымъ образцамъ, которые вдохновляли нашего поэта. На первыхъ же страницахъ поэмы вѣсъ поражаетъ, какъ грязное и безобразное пятно, своимъ антихудожественнымъ безвкусiemъ фигура сатаны. Представьте себѣ, что, вмѣсто того ирачнаго и, вмѣсто съ тѣмъ, обольстительнаго духа протеста, который является передъ нами въ поэзіи Байрона, или вмѣсто гѣтевскаго Мефистофеля, чарующаго тонкимъ остроумiemъ своихъ сарказмовъ чисто вольтеровскаго пошиба, исполненнаго яда того самаго скептицизма прошлаго вѣка, олицетворенiemъ котораго и является передъ вами Мефистофель, вмѣсто, наконецъ, хотя бы стереотипно-средневѣковаго діавола въ огнѣ, дымѣ и сѣрномъ запахѣ, передъ вами является вдругъ, въ поэмѣ гр. А. Толстого, какой-то неуклюжій буянъ, въ родѣ подгулявшаго мастероваго, и вся соль его сарказмовъ заключается въ рядѣ тривіальныхъ выражений, въ родѣ шарахнуль, напираль, даљ маху, лопнетъ око, карауль и т. п. Какую идею думать выразить гр. А. Толстой въ образѣ этого грубаго, аляповатаго и неотесаннаго мужланы? Не приходитъ ли вамъ невольно въ голову, что графъ только и заботился о томъ, чтобы, согласно традиціи, изобразить въ злому духѣ, все, что только онъ могъ представить себѣ непріятнаго, а что могъ онъ представить себѣ болѣе непріятнаго съ великосвѣтской точки зрѣнія, какъ не тривіальные выраженія? Вотъ онъ и нанизалъ ихъ безъ всякаго удержа и такта, желая представить въ сатанѣ самаго что ни есть *mauvais genre*. Но сатана является второстепеннымъ лицомъ поэмы — только въ началѣ и концѣ ея; главнымъ же герояемъ пародируетъ Донъ-Жуанъ, къ которому мы теперь и обратимся.

Легенда о Донъ-Жуанѣ относится всепѣю къ эпохѣ «Возрожденія» и чрезвычайно типично и рельефно выражаетъ собою духъ этой эпохи. Въ личности Донъ-Жуана олицетворяется протестъ человѣческой плоти противъ средневѣковаго аскетизма, все то радостное обаяніе земной жизни со всѣми ея наслажденіями, которое повѣяло на современниковъ Донъ-Жуана отъ изученія классической древности. Это — язычество, возставшее изъ-подъ тысячелѣтнаго гнета католического изувѣрства, со всѣми своими эротическими и вакхическими культурами, чашами, наполненными янтарнымъ виномъ, гирляндами цвѣтовъ, страстными пѣснями и поцѣлуями при блескѣ луны, въ типѣ благоухающихъ южныхъ ночей.

Въ этомъ отношеніи, каждая подробность легенды имѣеть свой особенный характеристический и, можно даже выразиться, философскій, сообразно своему времени, смыслъ. Донъ-Жуанъ, подобно древнему Эросу, всюду несетъ съ собою любовь, но только не ограничивается ниспосыпанiemъ ея смертнымъ, какъ языческій богъ, а напротивъ того, какъ человѣкъ, самъ ею пользуется. Но въ тоже вре-

ия, силы его имѣют чисто божественные размѣры, выходящіе изъ человѣческихъ предѣловъ. Такъ мы видимъ, что страсть его неотразима: ни одна женщина не въ силахъ устоять противъ его обольщеній; онъ непобѣдимъ въ бояхъ и пирахъ и даже святая инквизиція, со всѣми грозными атрибутами своего могущества, бессильна противъ него. Лично для него никакихъ религіозныхъ или нравственныхъ законовъ, установленныхъ средневѣковыми нравами, не существуетъ. Вся поэзія жизни сосредоточивается въ его глазахъ въ любви и наслажденіяхъ земнаго бытіемъ и кромѣ обаянія этой поэзіи для него не существуетъ ничего завѣтнаго и святого; разъ загорается въ его груди огонь этой поэзіи—и онъ готовъ преступить всѣ семейныя и гражданскія узы. Въ отвагѣ своей, онъ мало того, что объявилъ войну всѣмъ и духовнымъ, и гражданскимъ властямъ, но дерзнулъ бросить вызовъ и самому небу. Такъ, убивши командроа и обольстивши потомъ, все равно, жену его или дочь, онъ приглашаетъ статую его на пиршество. Замѣтите, какая строгая послѣдовательность миѳа и какъ вѣренъ остается Донъ-Жуанъ самому себѣ до самого конца легенды: своимъ приглашеніемъ статуи, ни на что-либо, какъ именно на пиршество, Донъ-Жуанъ словно, наконецъ, самый загробный міръ призываетъ къ вкушенію сладостей земнаго бытія. Но здѣсь, по понятіямъ современниковъ Донъ-Жуана, переполняется чаша дерзкой отваги протesta противъ аскетизма и изувѣрства среднихъ вѣковъ, или лучше сказать, современники эти выдаются далѣе сами себя: въ страшномъ концѣ легенды, въ появленіи статуи Командора на пиршество и въ увлечениіи ею Донъ-Жуана въ преисподнюю они выражали свое отношение къ протесту своего времени и вообще настроение эпохи. Очевидно, что протестъ классицизма противъ средневѣковаго изувѣрства, съ одной стороны, привлекалъ ихъ, какъ нѣчто новое, освѣжающее и въ тоже время вполнѣ соответствующее естественнымъ требованиямъ человѣческой природы, освобождающее эту природу отъ оковъ, наложенныхъ мракомъ средневѣковаго невѣжества, но въ тоже время это новое, освѣжающее и освобождающее пугало, именно потому что было новымъ и выходило изъ привычныхъ рамокъ жизни, казалось страшнымъ и гибельнымъ съ точки зрѣнія освященныхъ вѣками понятій. Поэтому и Донъ-Жуанъ является, съ одной стороны, доблестнымъ героемъ, возбуждающимъ восторгъ, удивленіе и неодолимое влечение къ себѣ, а, съ другой стороны, такимъ страшнымъ и неслыханнымъ злодѣемъ, что, наконецъ, земля была не въ состояніи держать такого нечестивца и небо, возмущенное до послѣдней крайности его дерзостью, было вынуждено послать даже чудо, чтобы избавить міръ отъ этого чудовища.

Таковъ внутренній, философскій смыслъ легенды о Донъ-Жуанѣ, и вы видите, какую стройную поэтическую цѣльность имѣеть этотъ послѣдній европейскій миѳъ, какъ относительно образа своего героя, такъ и относительно фабулы. Здѣсь каж-

дый камушекъ цѣпляется за камушекъ и нѣть возможности ни-
чего ни выкинуть, ни измѣнить. Реализуйте вы эту легенду,
откиньте вы прічество со статуею командора и проваливанье
въ адъ и Донъ-Жуанъ сейчасъ-же перестаетъ быть Донъ-Жуа-
номъ въ смыслѣ дерзкаго протестанта, бросившаго гордый вы-
зовъ всѣмъ земнымъ и небеснымъ силамъ, а обращается въ чу-
ственнаго испанскаго кавалера, пьяного забѣку и пошлого клуб-
ничника, во чтѣ-то въ родѣ россійскаго «Бурцева, ёры, забѣки,
собутыльника дорогого»... Съ другой стороны, заставьте вы Донъ-
Жуана раскаяться въ своихъ проказахъ и постричься въ мона-
стырь для замаливанья грѣховъ молодости и выйдетъ, я не могу
и выразить, какая анти-художественная, кисло-сладкая размазня
на постномъ маслѣ. Правда, впослѣдствіи создалась и другая ле-
генда о Донъ-Жуанѣ, именно съ такимъ концомъ расказа и
постриженія. Но подобный вариантъ легенды могъ возникнуть не
иначе, какъ въ средѣ очень набожныхъ католиковъ, можетъ быть,
и іезуитовъ. Очевидно, онъ принадлежитъ къ эпохѣ католиче-
ской реакціи, когда, съ одной стороны, ослабъ духъ религіознаго
протеста и протестантизмъ, самъ испугавшись своихъ крайно-
стей, началъ робко отступать и формироватьсь въ доктринерскія,
окаменѣлые ученія, а научный протестъ классицизма въ свою
очередь утратилъ свое обаяніе новизны и, вмѣсто того, чтобы
призывать безразлично все человѣчество къ наслажденіямъ земной
жизнью обратился въ поблажку распущенности придворныхъ и ве-
ликосвѣтскихъ нравовъ; въ тоже время возродившееся усилеміи
братьевъ Лойолы католичество начало отвоевывать цѣлые наро-
ды и страны. Очевидно, что только тогда Донъ-Жуанъ, отважно
подавшій руку желѣзному пожатію страшнаго гостя, могъ пре-
вратиться въ Донъ-Жуана, набожно молящагося въ монашеской
рясѣ въ католическомъ монастырѣ.

Типы подобныхъ молодушно струсившихъ своей отваги, слезно-
кающихъся протестантовъ являются въ литературѣ всегда не
иначе, какъ въ моменты реакцій. Кающійся Донъ-Жуанъ—это
Европа, смиренно возвращавшаяся на лоно католицизма въ лицѣ
Испаніи, Италіи, Франціи, Австріи, Польши. Замѣчательно при
этомъ, что когда литература, въ свою очередь, проникнутая ре-
акціонныхъ духомъ, относится положительно къ подобнаго рода
типамъ, она постоянно создаетъ нѣчто анти-художественное, при-
торно-прѣсное, отталкивающее отъ себя и претащее. Это очень
понятно: впечатлѣніе, отражающееся въ художественномъ образѣ,
только тогда можетъ дѣйствовать сильно и стройно на вашу
душу, когда оно является цѣльнымъ, не разбитымъ, не прелом-
леннымъ, не ослабленнымъ ассоціаціею съ какими-нибудь ины-
ми впечатлѣніями, совершенно противоположнаго рода и состав-
ляющими диссонансъ съ главнымъ. Въ этомъ-то и заключается
вся тайна художественной гармоніи. Представьте-же вы теперь,
что едва только вы настроились обаяніемъ молодости, силы, от-
ваги, гордой независимости—вообще, тѣми чарующими впечатлѣ-

ніями, какія навѣваютъ на вашу душу типы протестантовъ—и вдругъ оказывается, что это очарованіе—ложь, миражъ нѣчто весьма недостойное и непохвальное—и замъ въ видѣ спасительной гавани представляется тотъ же обаятельный образъ въ видѣ какого-нибудь смиренного святоши. Вы только представьте себѣ гордаго Чальдъ-Гарольда, купившаго себѣ домъ въ Сити и обратившагося въ добродѣтельнаго лавочника и биржеваго игрока, Печорина, женившагося на Мери и сдѣлавшагося предсѣдателемъ губернскай палаты министерства государственныхъ имуществъ, Марка Волохова, обратившагося въ губернскаго штабъ-хандарма.

Я не говорю, чтобы подобныя превращенія были невозможны въ жизни и непримы въ литературѣ; я указываю только на анти-художественность положительного отношенія литературы къ нимъ. Вы замѣтите, при этомъ, что всѣ художники, съ мало-мальски сильнымъ и тонкимъ художественнымъ чутьемъ, выводятъ типы какихъ-либо протестантовъ, постоянно оставляли ихъ протестантами до конца произведеній и по большей части заставляли ихъ умирать какою-нибудь насильственную смертью. Такъ точно и большинство европейскихъ писателей, начиная съ Габриеля Телецъ (Тирсо-де-Молина) и кончая Пушкинымъ, выводившихъ на сцену Донъ-Жуана, положительно или отрицательно относились они къ этому типу, постоянно брали для фабулы своихъ произведеній, первый вариантъ легенды и оставляли Донъ-Жуана самимъ собою до проваливанья сквозь землю. И одному только гр. А. Толстому пришло въ голову воспользоваться вторымъ, позднѣйшимъ вариантомъ и заставить Донъ-Жуана трогательно умирать въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ. Но этого еще мало: гр. А. Толстой вздумалъ смѣшать въ одну кашу оба варианта легенды и для этого реализировалъ пиршество со статуею командора такимъ образомъ, что Донъ-Жуанъ, по окончаніи пиры, упалъ въ обморокъ и видѣлъ во снѣ появленіе статуи и увлеченіе въ адъ, а когда проснулся, узналъ, что Дона-Анна отравилась и убѣдился, что онъ ее все-таки не перестаетъ любить—тутъ-то и раскался во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ.—Я не могу себѣ представить большей степени художественного безвкусія, какъ подобная реализація миѳовъ. Я допускаю, что миѳ можетъ быть у каждого писателя обработанъ по своему, сообразно духу времени и степени общественного развитія. Такъ напримѣръ, конечно, эсхиловскій Прометей, далеко не тотъ Прометей, какого создали тѣ эллины-дикари, которые только-что дошли до употребленія огня и прославили свое изобрѣтеніе въ прометеевскомъ миѳѣ. Конечно, гѣтевскій Faustъ имѣть очень мало общаго съ Faустомъ средневѣковой легенды. Вѣдь и Донъ-Жуанъ у каждого изъ писателей, выводившихъ его на сцену, выходилъ свой особенный Донъ-Жуанъ. Нисколько не въ претензіи я, что и гр. А. Толстой вывелъ своего собственнаго, особеннаго Донъ-Жуана, больше

похожаго на Фауста, чѣмъ на Донъ-Жуана въ собственномъ смыслѣ этого слова: такъ, у гр. Толстаго, Донъ-Жуанъ кутить и переходить оть одной женщины къ другой не оть избытка и разгула жизненныхъ силъ, вырвавшихся на волю изъ подъ гнета католического аскетизма, а вслѣдствіе романтическаго искашенія вполнѣ идеальной женщины и постояннаго разочарованія въ дѣйствительныхъ женщинахъ. Но я протестую противъ реализаціи фантастическихъ элементовъ миѳовъ и легендъ. По моему мнѣнію, если хочешь быть реальнымъ писателемъ до конца ногтей, такъ и не бери легенды фабулами своихъ произведеній, а ищи дѣйствительныхъ, вполнѣ реальныхъ сюжетовъ. А если тебѣ хочется брать легенды, то бери ихъ всецѣло, памятуя, что въ фантастическихъ элементахъ этихъ легендъ и заключается обыкновенно вся и поэтическая, и философская суть ихъ. Вамъ извѣстна конечно, народная легенда о томъ, какъ Иисусъ Христосъ явился въ одѣждѣ нищаго въ русскую деревню, стучался во всѣ окна, прося ночлега; но нигдѣ его не приняли, а изъ богатыхъ хатъ прогнали даже съ бранью и побоями, а пріютить его самый бѣднѣйший крестьянинъ, въ награду за что и былъ обогащенъ: у него уголья на шесткахъ превращены были въ червонцы. Согласитесь сами, что вся поэзія, вся сила этой легенды въ томъ именно и заключается, что тутъ является на сцену Иисусъ Христосъ и что зазнавшіеся и возгордившіеся богачи гнали и поругали самого Бога. Но вы вообразите себѣ только, чтѣ вышла бы за нелѣпость и за пошлость, еслибы иной реальный поэтъ захотѣлъ-бы воспользоваться этой легендою, да только изъ излишнаго усердія къ своему реализму вздумалъ-бы замѣнить Иисуса Христа какимъ-нибудь переодѣтымъ въ нищенское платье богачемъ-филантропомъ, который въ награду за гостепріимство бѣднаго мужика, тихонько подложилъ-бы ему на шестокъ подъ уголья червонцы. Но, по моему мнѣнію, еще нелѣпѣе, еще пошлѣе, когда фантастический элементъ легенды представляется въ видѣ сновъ или обмороковъ дѣйствующихъ лицъ легенды. Донъ-Жуана, сдѣлавшаго въ своей отвагѣ вызовъ самому загробному миру и павшаго въ неровной борьбѣ, я понимаю въ той же степени, какъ и Святогора, вздумавшаго помѣряться съ тягою земли и въ свою очередь ушедшаго въ землю, но Донъ-Жуанъ, упавши вдругъ въ обморокъ, какъ нервная барышня, и видѣвшій во снѣ появленіе на пиршествѣ статуи—это верхъ художественной безвкусіцы, это положительный абсурдъ. Легенда, теряя такимъ образомъ свой фантастический смыслъ, не приобрѣтаетъ взамѣнъ этого ни малѣйшаго смысла реальнаго, потому что, подумайте только, какихъ нелѣпыхъ сновъ не бываетъ и что зна чилъ подобный вздорный сонъ для Донъ-Жуана, когда я убѣжденъ, что еслибы самъ гр. А. Толстой увидѣлъ во снѣ появление сотни командорскихъ статуй, это не помѣшало-бы ему остатъся все тѣмъ-же графомъ А. Толстымъ, встать утромъ съ по-

стели, какъ встреченому, и приняться тотчасъ за художественное созерцаніе какого-нибудь рѣдкостнаго фавна.

Остается сказать нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ гр. А. Толстаго, о его историческихъ хроникахъ (Іоаннъ Грозный, Борисъ Годуновъ, Царь Федоръ) въ связи съ романомъ Князь Серебряный; но обо всемъ этомъ я ограничусь только нѣсколькими словами, такъ какъ, года три тому назадъ, мнѣ приходилось уже подробно трактовать обѣ этихъ произведеніяхъ гр. А. Толстаго на страницахъ этого журнала. Остается только припомнить читателямъ вкратцѣ высказанный тогда мною взгляды и связать ихъ съ теперешнемъ общимъ анализомъ характера творчества гр. А. Толстаго. Драмы эти составлены очень толково, умно, вполнѣ исторически вѣрно; на каждую, безъ сомнѣнія, положено не мало трудовъ изученія эпохи и героя ея. Но главные недостатки ихъ заключаются въ томъ, что въ нихъ и тѣни нѣть драматического паѳоса: дѣйствія въ нихъ мало, эпической, бытоописательный элементъ преобладаетъ надъ драматическимъ, сюжеты не представляютъ той цѣльности и законченности, какая требуется отъ драмы, вслѣдствіе всего этого драмы эти скучноваты на сценѣ и годятся болѣе для чтенія, чѣмъ для игры. Подобные недостатки этихъ драмъ, очевидно, находятся въ тѣсной связи съ общимъ характеромъ творчества гр. А. Толстаго. Они зависятъ прямо отъ того, что, какъ все написанное графомъ, и драмы эти составляютъ продуктъ кабинетнаго, отвлеченнаго творчества по книгамъ. Они составлены по источникамъ, какъ составляются историческая диссертациі, а не созданы какими-либо сильными импульсами жизни, одушевившими поэта и напрягшими его творчество. Замѣчательно при этомъ, что даже и въ этихъ произведеніяхъ, составленныхъ по древнимъ лѣтописямъ и актамъ, несмотря на все погруженіе поэта въ чисто-русскую, безпримѣсную жизнь, онъ не могъ остаться вполнѣ самимъ собою. Нѣть, у него тотчасъ же явилась претензія представить изъ себя Шекспира — и вотъ онъ въ самой видной своей драмѣ, Іоаннѣ Грозномъ, заставилъ какихъ-то волхвовъ-кореловъ разыграть передъ Борисомъ Годуновымъ роль макбетовскихъ вѣдѣмъ и ударился въ крайность, противуположную той, какую мы видѣли въ его «Донъ-Жуанѣ». Тамъ онъ вздумалъ реализовать фантастический элементъ легенды, а здѣсь, напротивъ того, ему пришло въ голову самовольно ввести фантастический элементъ въ реальную жизнь — и вышло также нехѣстати и также пошло.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ еще о весьма странномъ и необъяснимомъ недостаткѣ творчества гр. А. Толстаго, недостаткѣ, впрочемъ, виѣшнемъ. Мы видѣли изъ автобиографіи графа, что онъ началъ писать стихи съ 6 лѣтнаго возраста, увлекшись какими-то толстыми сборниками лучшимъ русскихъ поэтовъ. При этомъ графъ считается не лишнимъ замѣтить, что какъ ни были нелѣпы его первые опыты, но въ метрическомъ отношеніи они были безупречны. Но не диво ли,

что въ то самое время, какъ поэтъ считалъ безупречными въ метрическомъ отношеніи свои первые опыты шестилѣтняго ребенка, на дѣлѣ же стихотворенія графа А. Толстаго, писанные имъ въ продолженіи всей жизни, далеко нельзя назвать безупречными въ метрическомъ отношеніи. Я не говорю уже о томъ, что вообще его стихъ тяжеловатъ, не отличается особенно гармоничностью и плавностью и видно, что не легко ему давался, но очень нерѣдко въ его стихотвореніяхъ вы можете встрѣтить стихи, положительно неправильные, которые могутъ быть введены въ размѣръ только при искаженіи нѣкоторыхъ словъ въ ихъ удареніяхъ. Какъ вамъ понравятся, напримѣръ, такие неулюожіе стишкі:

И ничего въ природѣ нѣтъ
Что бы любовью не дышало...
Галокъ стала вѣть
Поганымъ гнѣзда...
Будешь красоваться листьями убрана...
Ассирияне шли какъ на стадо волки и пр.

Встрѣчаются также и такие стихи, которые метрически совершенно правильны, но дорого досталась повидимому автору эта правильность. Напримѣръ, какъ вамъ нравится художественная прелесть и изысканность такого выраженія:

Все звонкое и таство летаетъ кругомъ,
Ликующи въ тысячу ямотокъ...

Эти два стиха хоть бы и Тредьяковскому въ пору. Я не знаю ужъ, какъ объяснить эту шероховатость стиховъ гр. А. Толстаго, небрежностью ли, съ какою онъ относился къ внѣшней отдылѣ своихъ стихотвореній, недостаткомъ ли музыкального уха, неискусствомъ ли владѣть стихомъ, или и здѣсь, можетъ быть, въ свою очередь играетъ роль тотъ же характеръ творчества гр. А. Толстаго. Я полагаю, что каждый пишущій стихи замѣчалъ не разъ, что чѣмъ сильнѣе онъ возбужденъ или вдохновленъ, какъ выражались прежде, къ изложенію своихъ мыслей стихами, тѣмъ легче давались ему стихи, тѣмъ они выходили гармоничнѣе и плавнѣе. Напротивъ того, искусственно слагать стихи при совершенно спокойномъ расположеніи духа безъ всякаго нервнаго возбужденія — бываетъ чрезвычайно трудно, какъ бы ни владѣли вы искусствомъ риѳмоцѣства. Попробуйте перелагать въ стихи какую нибудь алгебру и вы увидите, насколько это труднѣе, чѣмъ написать стихотворное любовное посланіе въ порывѣ молодой страсти. Очень можетъ быть, что оттого у гр. А. Толстаго и выходили стихи такъ тяжеловаты и шероховаты, что ему приходилось писать не въ порывѣ естественныхъ жизненныхъ возбужденій, а вымучивать ихъ, искусственно слагая холодныя измышленія различныхъ художественныхъ созерцаній.

Я кончилъ, и мнѣ очень грустно, что о недавно умершемъ поэту мнѣ пришлось изрѣчь столько суровыхъ и черстыыхъ приговоровъ. Чтобы смягчить ихъ хоть сколько нибудь, въ видѣ

послѣсловія, я ставлю вотъ какой вопросъ. Мы видимъ, что во всѣхъ искусствахъ существуетъ строгое раздѣленіе двухъ областей, изъ которыхъ одна другую питаетъ и поддерживаетъ, но въ то же время между этими двумя областями ставится рѣзкая грань, и никому въ голову не приходитъ смѣшивать обѣ области; каждая можетъ имѣть своихъ маестровъ и свои шедѣвры, но опять таки никто и не подумаетъ маестра одной области переносить въ другую. Это—область искусства въ истинномъ и въ моемъ смыслѣ этого слова, искусства живаго, творящаго, развивающагося и искусства, если можно такъ выразиться, аксессуарно-техническаго, низшаго, паразитно-питающагося соками высшаго искусства. Такъ, напримѣръ, никто вамъ не мѣшаетъ восхищаться работами Сазикова и Овчинникова и платить за нихъ большія деньги; но придется ли кому въ голову сравнивать эти работы съ произведеніями великихъ ваятелей въ родѣ Бенвенуто-Челлини, и, съ другой стороны, съ чѣмъ сообразно, еслибы кто-нибудь вздумалъ презрительно относиться къ работамъ Овчинникова и Сазикова только потому, что эти работы не могутъ быть сравнимы съ такими же работами Бенвенуто-Челлини. Нѣтъ, всякий знаетъ, что Бенвенуто-Челлини одинъ изъ первыхъ маестро въ своей области, и Овчинниковъ и Сазиковъ тоже первые въ своей. Тоже самое и въ музыкѣ: восхищеніе Бетховеномъ или Моцартомъ нисколько не мѣшаетъ вамъ находить, что вотъ въ данномъ трактирѣ существуетъ такой прекрасный органъ, лучше которого вы не слыхали и потому чаще посѣщать этотъ трактирѣ съ специальной цѣлію наслаждаться звуками органа: Бетховенъ первый—въ своей области, трактирный органъ—въ своей, и одинъ другому въ вашихъ глазахъ нисколько не мѣшаетъ быть первымъ. Точно также можетъ быть первый декораторъ въ городѣ безъ всякаго сравненія съ Рафаелями и Сальваторами-Розами и пр.

Скажите вы мнѣ, пожалуйста, отчего же въ одной только поэзіи не существуетъ никакого такого раздѣленія подобныхъ же областей, а всѣ поэты, мало маѣски способные связать двѣ риѳмы, безразлично смѣшиваются въ одинъ безразличный хаосъ знаменитостей, всѣ тянутся если не въ Шекспира и Гёте, по малой мѣрѣ, въ Пушкины—и критика непремѣнно должна глубокомысленно рѣшать, какое значеніе имѣть риѳмосплетатель въ судьбахъ русской литературы, что онъ внесъ въ нее, создаль, а если окажется, что ничего особеннаго не создаль, то непремѣнно за тѣмъ должно послѣдовать презрѣніе, пренебреженіе—съ одной стороны, а съ другой—оскорблѣніе самолюбія, если поэтъ живой, или памяти его, если онъ покойный?

А между тѣмъ, попробуйте разграничить обѣ области столь же строго, какъ онѣ разграничены въ другихъ искусствахъ, вы сами сразу признаете первыми маестрами такихъ поэтовъ, какіе нынѣ считаются одними изъ самыхъ послѣднихъ, хотя, конечно, при этомъ вамъ и въ голову не придется задавать глубоко-

мысленные вопросы, имѣютъ ли эти поэты какое-либо значеніе и какое именно въ судьбахъ развитія русской поэзіи.

Точно также и относительно графа А. Толстаго. Конечно, послѣ тѣхъ колѣнопреклоненій передъ его поэзіею, которыя расточались въ прошломъ году и въ «Вѣстнике Европы», и въ «Русскомъ Вѣстнике», и во многихъ газетахъ, мои приговоры имѣютъ мѣсто, какъ стремленіе умѣрить пыль этихъ колѣнопреклоненій и опредѣлить болѣе хладнокровно и безпристрастно, чѣмъ же именно заслужила поэзія гр. А. Толстаго подобныхъ оваций. Но представьте себѣ, что заранѣе, безъ всякихъ сомнѣній и недоумѣній было бы понятно всѣмъ и каждому, что стихотворенія гр. А. Толстаго имѣютъ такое же значеніе въ литературѣ, какъ занавѣси театровъ въ живописи, какъ канделябры или бронзовыя статуи подъ лампы работы того или другого знаменитаго маestro въ этомъ родѣ, какъ вальсы Штрауса и т. п. Тогда, конечно, мои приговоры не имѣли бы ровно никакого смысла. Говорить о недостаткахъ описаній природы въ стихотвореніяхъ гр. А. Толстаго, о промахахъ поэмы «Донъ-Жуанъ», о снотворности его драматическихъ хроникъ или шероховатости стиховъ было бы также нелѣпо, какъ замѣтать о недостаткѣ экспрессіи въ лицѣ купающейся нимфи на занавѣси театра или о несоразмѣрности членовъ бронзоваго рыцаря, держащаго въ рукахъ канделябръ со свѣчами. Напротивъ того, я съ своей стороны готовъ былъ бы признать гр. А. Толстаго, однимъ изъ первыхъ маestroвъ по части галантерейной поэзіи, готовъ былъ бы искренно признаться, что многія изъ его произведеній не разъ доставляли мнѣ большое наслажденіе, что и впредь я готовъ послѣ сытнаго обѣда, въ пріятной дамской компаніи уладить свой досугъ на раду съ лучшими конфектами изъ самой модной кондитерской декламаціе чего-либо въ родѣ

Колокольчики мои,
Цветики степные и пр.

А. Скабичевскій.